

мариэтта чудакова

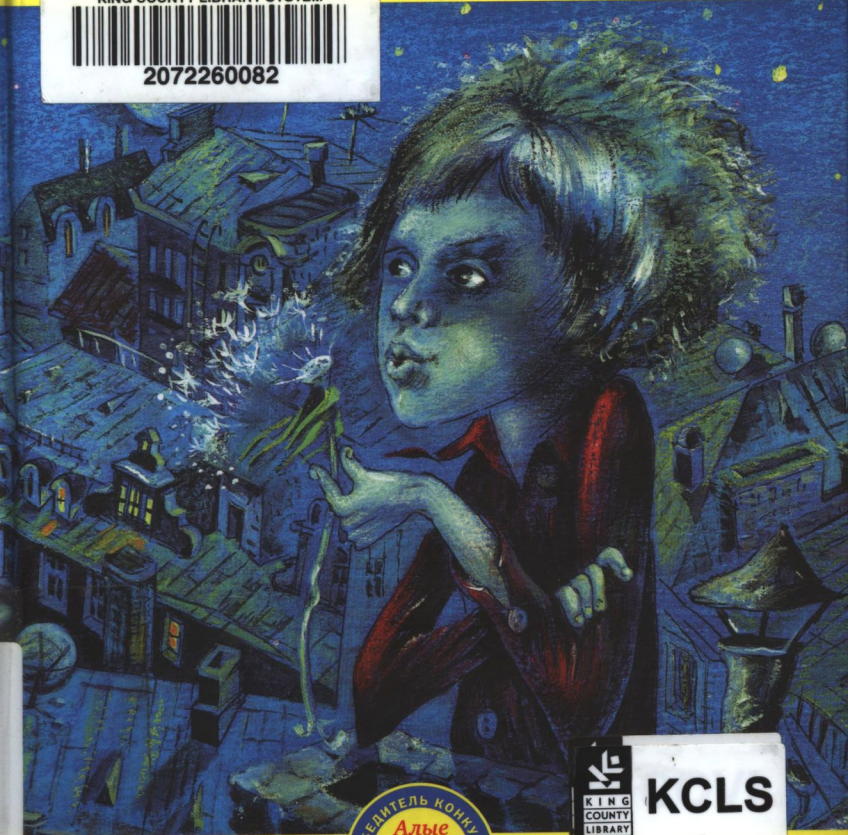
дела и ужасы жени осинкиной

Тайна гибели Анжелики

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2072260082





**Евгении Астафьевой
с любовью, верой и надеждой**

**Путешествие в трех томах,
а также последующие необычные,
ужасные и счастливые истории,
случившиеся с ней самой и с ее друзьями**

Мариэтта Чудакова

Author Chudakova, Mariëtta Omarovna.
Title Dela i uzhasy Zheni Osinkinoï.

Дела и ужасы Жени Осинкиной

Тайна гибели Анжелики

Москва
2007



ББК 84Р7-4

Ч84

Дизайн
Валерий Калныньш

Иллюстрации
Вера Коротаева

Чудакова М.

Ч84

Дела и ужасы Жени Осинкиной. Книга первая: Тайна гибели Анжелики. — М.: Время, 2007. — 320 с.

ISBN 978-59691-0239-2

Эту неожиданную для себя и для читателей книгу написала Мариэтта Омаровна Чудакова — знаменитый историк литературы XX века, известный в мире знаток творчества Михаила Булгакова. Автором задумана целая серия книг под общим названием «Дела и ужасы Жени Осинкиной». Увлекательное, остросюжетное повествование об опасных приключениях юной героини и ее верных друзей — Вани-опера, Фурсика, Скина и других — начинается с первого романа «Тайна гибели Анжелики». А в следующих книгах жизнь героев становится все опаснее и интереснее...

ББК 84Р7-4

ISBN 978-59691-0239-2

© Мариэтта Чудакова, 2005

© «Время», 2005

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОБЫТИЙ

— Как дела? — спросила мама, глядя в зеркало и щурясь особенным образом на отражение.

— Мама, ты только не волнуйся, но...

— Только без ужасов! Я спрашиваю тебя о том, как у тебя дела, и именно о них — понимаешь? — хотела бы услышать.

Но Женя ничего не могла поделать с тем главным обстоятельством жизни, что у нее все шло вперемежку и, как правило, на три дела приходилось не менее одного ужаса.

Когда Жениной маме было десять лет — на три года меньше, чем сейчас Жене, — она сказала родителям:

— Кто бы у меня ни родился, когда я вырасту, — мальчик или девочка, — я назову его Женей.

Так и случилось. Но, может быть, имя, годившееся и для мальчика, и для девочки, наложило на Женю особую печать, и именно оно было повинно в том, что заставляло папу вопрошать дочь с негодованием:

— Скажи мне, пожалуйста, ты — девочка или мальчишка-бандит? Да как ты могла



решиться проникнуть в мужскую раздевалку и отрезать у мальчиков пуговицы на рубашках?!

— Но, папа, они нам в рюкзаки петарды засовывают! А они потом взрываются! И еще пакеты с водой! Представляешь?!

— Но это ведь мальчики. А ты — девочка!

Папа продолжал убиваться (почти, добавим мы от себя, по-женски — во всяком случае, сильнее, чем мама), а у Жени в дневнике продолжали появляться записи: «По-волчьи выла в классе», «Бегала по подвалу с мальчиками и взрывала пистоны».

— Ты учителей поэтами делаешь, — меланхолично заметила мама, расписываясь в дневнике. — В мое время писали просто: «Мешала вести урок» или «Плохо ведет себя на уроках». А ты такое выкомариваешь, что они мучаются в поисках слова.

Но это, конечно, было в детстве, класса до пятого. Женю давно волновали совсем другие вещи.

— Так могу я узнать, как у тебя дела?

— Дело в том, что...

— Так. Начинается!..

И в самом деле — нечто начиналось. Но что именно — ни Женя, ни ее мама, которая отправилась по делам, так и не получив ясного ответа на заданный вопрос, еще не знали и даже не подозревали.



ГЛАВА 1

НОВОСТИ

Зазвенел телефон — мама звонила по мобильному:

— Ты дома? Я уже у подъезда. Открой мне? Опять забыла ключ!

Сейчас это было как раз очень кстати.

Женя сняла ногу со стены, захлопнула книжку, быстро вставила ее на полку — на место, между четвертым и шестым томом.

Она не поняла на последней странице одно слово, но у мамы спрашивать бесполезно. Она всегда отвечала одно:

— В доме не менее двадцати словарей. По крайней мере в трех ты можешь найти ответ на свой вопрос.

Пока мама ехала на лифте до 12-го этажа (Женя точно знала, сколько идет лифт: 55 секунд; за это время она успевала выучить четыре английских или три французских слова; английские слова почему-то запомнились быстрее), Женя думала, почему мама не разрешает ей читать рассказы Бунина. И еще поясняет:

— Пока читать его тебе незачем.

— А когда будет зачем?

— Когда повзрослеешь.

— А когда я повзрослею?

— Все в разное время взрослеют. Может быть, в восемнадцать лет. А может, еще позже.

— Если я не буду читать взрослые книги, я вообще никогда не повзрослею!

Папа был на стороне Жени. При ней он с мамой не спорил — считал, видно, что это не-пе-да-го-гич-но. Но Женя, конечно, все,

что ей надо, подслушивала — не такая обширная у них квартира, и вообще, если хотят секретничать, пусть выходят на улицу. И она подслушала, как папа говорил:

— Книг, которые читать рано, не бывает. Бывают только такие, которые читать поздно.

Женя была с ним согласна — однозначно, как любит говорить ее подруга Зиночка.



Это если все книги откладывать до восемнадцати лет, то потом в институте учиться некогда будет! Там ведь задают еще больше, чем в школе.

Женя услышала, как подъехал лифт, и побежала открывать маме дверь.

Были новости — мама через два дня отправляется в байдарочный поход на десять дней.

Родители всегда ходили на байдарке вместе. Женю они брали с собой с четырех лет, но только когда шли одни — или в «семейные» походы, с несколькими детьми. Потом Женя выросла, стала очень спортивной и в прошлом году заправски прошла с родителями по одной из рек Средней Карелии.

Папа только что улетел на две недели на конгресс в Мексику. Тут неожиданно заболел знакомый байдарочник, и получалось, что одна из байдарок пойдет с единственным гребцом, что в тяжелом походе не положено. Друзья уговорили маму присоединиться к ним. Поход предполагался очень трудный, в приполярной тундре, и Женю мама взять не могла.

Вообще-то они с мамой в первую неделю ее отпуска собирались совершить давно задуманное турне по подмосковным музеям-усадьбам. Теперь это дело откладывалась, а отправить Женю куда-нибудь из летней Москвы мама уже явно не успевала. На секунду у Жени мелькнула сумасшедшая мысль, что она останется на две недели одна. Одна!..

У нее мгновенно возникли очень серьезные планы на это время. Молнией пронеслось давнее жгучее желание взлезть в Интернет на всю ночь и, во-первых, найти и скачать наконец все, что относится к жизни ее любимого зверька — тушканчика, а потом сходить по давно присмотренному и дважды наспех посещенному адресу ese4co.vis.ne.jp/

shock-wave8/tamaneco.html. Она хотела посмотреть более внимательно древнюю-древнюю игру, в которую, когда ее еще на свете не было, играли некоторые люди целый день с заходом в ночь. И вообще заглянуть на oldgames.ru — старые игры, как и старые игрушки, Женю всегда интересовали, но днем ей сидеть в Интернете несколько часов подряд никто бы не позволил, а ночью, когда это, как известно, намного дешевле, — тем более. Но главное, главное — Женя враз решила, что вот когда она наконец сделает ремонт в своей комнате — и распишет стены!..

Давно был готов целый альбом эскизов и даже подкоплены небольшие средства. Но когда Женя пыталась представить себе, как говорит родителям: «Итак, дорогие папа и мама, в субботу я начинаю ремонт своей комнаты. Не беспокойтесь, я все сделаю сама — не оторву вас от ваших дел ни на минуточку! Но только сделаю так, как я хочу, — хорошо?» — она сразу видела, как на экране, очень выразительную реакцию родителей, причем обоих (в подобных случаях они всегда были заодно).

И тут на немой вопрос, ясно обозначившийся в округлившись Жениных глазах, мама, глянув искоса, ответила:

— А к тебе в тот же день придет тетя Вера. Я с ней уже договорилась. Так что на вольницу не рассчитывай. Я бы и не поехала, если б не Вера. И сними, пожалуйста, ногу со стены, когда я с тобой разговариваю.

Вера, двоюродная мамина сестра, была любимой Жениной родственницей. Она звала ее не тетей, а по имени, и любила выкладывать ей все свои ужасы. Но — что скрывать? — перспектива остаться одной была сейчас гораздо соблазнительней общения с Верой.

Что делать, если обстоятельства, как любит говорить папа, сильнее нас. К тому же начать полукриминальный ремонт своей комнаты можно, пожалуй, и при Вере.

Через два дня рано утром мама стояла у двери в джинсах, в синей футболке, с огромным рюкзаком на спине.

— Мамочка, ну какая же ты стройная! — воскликнула Женя. — И красивая!

— Итак, ты все поняла? — спросила мама. — Вера приезжает сегодня вечером, часов в десять. Не вздумай загулять где-нибудь со своей Зиной — у Веры нет ключа. Звонить я в Москву не смогу: там мобильная связь не работает, переговорных пунктов тоже нет — мы пойдем в основном по ненаселенке. Папа, может быть, позвонит раза два из своей Мексики. Деньги ты знаешь где, на две недели вам хватит. НЗ — в ящичке под папиным компьютером. Без дела не бери, сама знаешь, что мы с папой деньги не печатаем — за это в тюрьму сажают. Ну, зверечек, — деловой мамин голос все-таки дрогнул, — будь хорошей девочкой, главное — не простуживайся, не болей!

Она расцеловала Женю в обе щеки и в носик, Женя, в этом году переросшая маму, нарочно сделала вид, что по привычке виснет на ней, и со словами «Спокойной ночи!» мама исчезла за дверь.

Проводить ее в лифте до машины, которая ждала внизу, она не разрешила. Так и на вокзале она не разрешала им с папой стоять до отправления поезда: вид близких, остающихся на отплывающей назад платформе, ее

расстраивал. С виду суровая Женина мама была очень даже чувствительной — в отличие от многих с виду очень чувствительных.

А «Спокойной ночи!» ранним утром или среди бела дня, удивлявшее невольных слушателей, — в их семье это была традиционная формула прощания. Пошла она с детства Жениной мамы, когда ее мама, то есть, как поймет сообразительный читатель, Женина бабушка, вечно писавшая свои диссертации и книги по ночам (потому что весь день была на работе), грозно говорила маленькой дочери вечером, после сказок про слонопотамов:

— Я уже сказала тебе — *спокойной ночи!*

Это означало, что всякое нытье и канюченье («Посиди со мной!», «Водички!» и прочие приемчики) должно быть закончено — она наконец садится за свой стол и будет писать до трех ночи, потом немножко поспит и побежит на работу.

В первую минуту после маминого отъезда Женю охватила тоска. Но уже в следующую — непривычное чувство свободы.

Впереди было не менее 10–12 часов свободной жизни, и предстояло потратить их с толком.



ГЛАВА 2

БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ НОВОСТИ

Один из вариантов пришел в голову сразу: взять немножко денег и отправиться с Зиной в «Макдональдс». Осуществить, наконец, давний замысел — съесть и мороженое, и молочный коктейль, и закусить горячим пирожком с вишней.

Второй вариант — пойти в кино на «Гарри Поттера». Если быстро и умело добыть и использовать нужную информацию, то можно, переходя из одного кинотеатра

в другой, посмотреть две серии подряд — то есть сделать как раз то, против чего всегда решительно протестовали родители. Но если они уехали и нельзя спросить у них разрешения, значит, рассудила Женя, нельзя сказать, что она нарушает чей-то запрет.

К третьему варианту перейти не удалось, потому что зазвонил телефон. Звонок был резкий и частый: междугородный.

— Москва? Ответьте Тюкалинску.

Сквозь хрипы и шуршание пробился далекий-далекий голос.

— Женя, Женя, это ты? Это мама Олега.

Женщина замолчала. Слышно было, как она сдерживает рыдания.

— Отправили на пожизненное...

Дальше было непонятно, что-то про тьму.

— Что? Куда? — кричала Женя. И наконец разобрала:

— В Потьму, в Потьму!.. Женя, он не виноват, ты же знаешь... Его в милиции...

Дальше — про какого-то слоника, вовсе непонятное.

Голос то и дело прерывался, дрожал, прерывался сквозь слезы.

Женя не раз видела и слышала, как плачут, сама была не прочь иногда всплакнуть. Но тут было совсем другое.

— Женя, я тебе звоню просто потому, что больше уже никому. За что же, за что?.. На всю жизнь!..

— Не плачьте! — закричала вдруг Женя. Вернее, она сама услышала свой голос. С ней бывало так — в особые минуты. — Не плачьте! Этого не будет! Вы слышите? Я даю вам слово!

В трубке щелкнуло.

Женя сидела некоторое время с трубкой в руках, тупо слушая частые гудки. Потом положила трубку и вскочила. Надо было действовать. Раз совершилась несправедливость и человека за неизвестно чье преступление все-таки засадили на всю жизнь в тюрьму (а была надежда!..) — она, Женя, этого не допустит. Как именно — она еще не знала точно, но в ее голове уже вихрем завертелись варианты действий.

Тут мы должны сообщить читателю, что она с раннего детства любила слушать мамин разговоры по телефону — не подслушивать, а слушать, тихонько сидя в маминой

комнате с ее разрешения. И когда в некоторых разговорах — как понимала Женя, с какими-нибудь начальниками, и не самыми хорошими, — мама произносила по-особенному спокойным, хорошо знакомым Жене голосом свою коронную фразу: «Я прошу вас иметь в виду: я не остановлюсь!» — у Жени пробегал холодок сразу и по спине, и где-то около желудка.

Надо сказать правду, Женя кое-что переняла от своей мамы. Была ли это генетика или повседневный в течение тринадцати лет опыт общения с этой, пожалуй, незаурядной женщиной — мы не беремся утверждать с определенностью. Ведь для этого, во всяком случае, надо быть генетиком! Правда, теперь о генетике берутся рассуждать все кому не лень — и некоторые даже смело заявляют о *гибели генофонда* в нашей стране. Но мы ни за что не пополним ряды этих всезнаек. Так вот, в результате того или другого, но у Жени сложился такой характер, что если она за что-то бралась, то каким бы трудным и даже казавшимся невыполнимым ни было это дело — она, не останавливаясь, шла до конца («Как танк!» — говорила Зиночка с восхище-

нием, смешанным с ужасом), пока не достигала желанного результата. Как правило, это касалось не ее собственных дел и маленьких делишек, а чьих-нибудь. Но сейчас не время останавливаться на этом подробно.

Собраться с мыслями Женя не успела — телефон тут же зазвонил снова.

— Москва? Ответьте Чукавину.

Какому еще Чукавину?.. Но тут же, слава Богу, сообразила — это была усадьба Чукавино, возле которой жила ее тетя Вера.

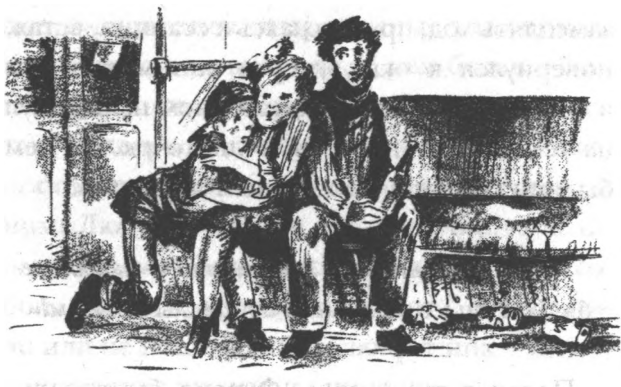
— Это соседка Веры Игнатьевой говорит. Мы ее сегодня в больницу отправили — острый аппендицит. Она просила вас предупредить — типа вы ее сегодня ждете...

Да, такого поворота предусмотрительная Женина мама не предусмотрела. Правильно говорит одна бабушкина знакомая: «Человек предполагает, а Бог располагает».

И долго потом Женя со стыдом вспоминала, что сообщение Вериней соседки ее почти обрадовало. Аппендицит — это значит минимум пять дней в больнице. Потом — сколько-то дома.

Это значило, что Женя получала неожиданную возможность заняться всерьез де-

лом Олега Сумарокова. Тут же ремонт комнаты и прочие замечательные замыслы разом испарились из головы, и стал складываться новый жизненный план. В течение получаса ей стало ясно, что важнейшим шагом становилось посещение Фурсика. К нему-то она и начала деятельно готовиться. А за ним были намечены еще несколько визитов.



ГЛАВА 3

ФУРСИК

Фурсик оглядел вагон. Далеко в углу двое парней обняли с двух боков девчонку — довольно старенькую, лет 17, не меньше. Им было ни до кого. Больше в вагоне ни души — время позднее.

Он сел и стал все готовить: поставил ранец на колени, расстегнул, быстро достал нужный листочек, пузырек с водой, открутил его, смочил водой тыльную клейкую сторону листочка и, дождавшись момента, когда поезд стал

замедлять ход, приближаясь к станции, встал, повернулся к окну, уперся одним коленом в сиденье и быстрым движением нашлепнул на темное оконное стекло листочек. На нем было четко написано черным маркером:

«Встань, приятель! Эти места — не для тебя. Уступи их женщинам и пожилым людям!»

Поезд остановился. Фурсик быстро выскочил из вагона и двинулся к выходу из метро. На сегодня намечено было объехать четыре станции.

Ему нужно на выходах из метро наклеить листочки на те самые свободно болтающиеся стеклянные двери, сквозь которые многие люди проходят бодро, энергично толкая дверь вперед, а дальше уже не беспокоясь о ее свободном полете назад. Правда, есть и те — и таких, Фурсик видел, тоже было немало, — кто обязательно придерживает дверь, дожидаясь того момента, как ее перехватит идущий сзади.

Наблюдая, Фурсик выявил некоторые закономерности. Придерживали дверь по большей части те, кому делать это было тру-

дно, — женщины, нагруженные тяжестями, и довольно старые люди. А чем больше был полон жизни и энергии проходящий через такую дверь человек, тем большую опасность представлял он для тех, кто шел за ним. Люди не делали так нарочно, они не были злыми. Они просто заняты только собой, как дети, щенки или котята. Не помнили или не понимали, что вокруг них — люди, точно такие же, как и они сами.

И Фурсик видел однажды, как тщедушную старушку — из тех, про которых говорят «в чем душа держится» или «божий одуванчик», — дверь сбила с ног так, что она отлетела. Он помогал ей подняться, и старушка, поправляя платок, только приговаривала: «Батюшки, охранил Господь — все болит, но вроде цела». Фурсик, впрочем, вовсе не был в этом уверен — он рос в медицинской семье и знал, что трещина в кости может обнаружиться и позже.

С того дня он и стал клеить на эти жизненно опасные двери свои предупреждения:

«Обязательно, обязательно придержи дверь — сзади идет чья-то мама или бабушка!»

Фурсик был уверен, что это не может не подействовать. И был, конечно, прав.

Когда наутро ни свет ни заря к нему заявила Осинкина, он еще спал — после тяжелого трудового дня. Быстро вскочил, наскоро ополоснул физиономию — и они долго шептались о чем-то в его комнате. Следует, пожалуй, добавить, что Фурсик был одним из самых верных товарищей, на которого можно при случае полностью положиться, — то есть именно таким другом, иметь которого мы от души пожелали бы каждому читателю. Именно он по замыслу Жени должен был стать Координатором.

В конце разговора она вручила Фурсику большой пухлый конверт — и бегом побежала дальше.

Вскоре ее можно было видеть уже на другом конце Москвы, недалеко от Новодевичьего. Именно там, в доме с видом на маковки монастырских церквей, жила Маргаритка.



ГЛАВА 4

МАРГАРИТКА

В доме с утра был переполох.

Выпускница той же школы, где училась Женя, и старшая ее подруга Маргаритка, вместо того, чтобы сидеть с семи утра за учебниками (все лето шла подготовка к экзаменам в Высшую школу экономики), уже давно ползала по полу, заглядывая под шкаф, под тахту и даже под холодильник.

— Ну где ежишка? Что он, с двенадцатого этажа, что ли, убежал? Так и протопал по лестнице до первого?..

Женя стояла в ожидании.

— Ой, вот он!

И Маргаритка стала палкой выгребать что-то из самого дальнего угла под тахтой.

— Ой, какой он толстый! Что это он так растолстел, а?

— Ест хорошо, — сказала Маргариткина мама. — Всю ночь молоко лакал — три блюдца вылакал.

А высокий, спортивный Маргариткин отец повел себя странно — выскочил из комнаты и в кухне, видела Женя из коридора, стал беззвучно сотрясаться, наклонясь над столом.

— Надо же — за ночь так разросся!

При этих Маргариткиных удивленных словах ее мама выскочила вслед за отцом. Он же, оставаясь в кухне, зажал себе рот ладонью и только глядел на жену выпученными глазами.

Так ничего и не поняв, озабоченная своими мыслями Женя пошла за Маргариткой, которая, ловко подхватив ежа ладонями под живот, понесла его в свою комнату.

Там они долго шептались. Результатом этого шепота стали переговоры Маргаритки по мобильному с неведомым Стасом:

— Дело идет о жизни человека. ...При чем тут киллеры? Не заказали, а посадили. ...Сколько сможешь, Стас. Если не можешь свои — переговоры с вашим генеральным. Он же интересуется правами человека. Вот тут и нарушено право человека на свободу. Ты понимаешь, что такое — пожизненное? Читал про «позу Ку» в «Известиях»? ...Совершенно невинен, Стас, можешь мне поверить. Мы все хорошо его знаем. Он не из тех, кто убивает, а из тех, кто спасает. Вот все и были уверены, что его в конце концов оправдают — по кассации. Да, можешь считать, что оказались наивными. Сегодня, сегодня, Стас. Крайний срок — завтра рано утром.

Женя слушала и глядела на говорившую во все глаза.

Это была совсем не та Маргаритка, которая только что ползала по полу, разыскивая своего ежишку. Теперь она говорила с приятелем — успешным предпринимателем. И казалось — по тону этого разговора и по самим словам, что она давно учится в одном из самых престижных вузов страны (куда, как известно читателю, только готовилась поступать), а может, уже и закончила его.

После Маргаритки набрала чей-то номер и Женя, кратко предупредив кого-то, что минут через 35—40 она у него появится.

Далее путь Жени лежал к любимым москвичами Патриаршим прудам, точнее — на Малую Бронную.

Что касается странного поведения Маргариткиного отца, вызвано оно было следующим обстоятельством, которое, тайком от нее, будет открыто читателю, пока Женя преодолевает немалый путь от Пироговки на Патриаршие. Маргаритке же не суждено будет узнать об этом обстоятельстве долго-долго — до того времени, когда она сама обзаведется дочкой, и Маргариткины родители решат рассказать эту историю дочери и внучке — в неизвестно какое назидание.

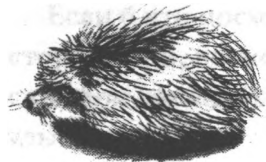
Дело в том, что отец Маргаритки привез ей с дачи маленького ежонка — то ли отбившегося от матери, то ли потерявшего ее в ночной схватке с неведомым ему врагом. Отец хотел как-то скрасить дочери целодневное сидение за учебниками в жаркие летние дни. Из-за жары занятия шли в основном на балконе. И действительно — Маргаритка уверяла, что Ежишка — такое имя ему

она дала — ей очень помогает. Она зубрила, а он цокотал коготками по балкону или спал, свернувшись в колючий клубок.

Но родители не знали, что именно ежата, в отличие от взрослых ежей, в неволе не выживают. И вчера поздно вечером, когда Маргаритка уже спала, ежонок вылез на середину комнаты и умер.

Родители держали семейный совет. Конечно, жалко было ежонка (отец вынес его из дома и где-то зарыл), но их волновала дочь: очень любившая животных Маргаритка могла, по их мнению, сильно расстроиться и вообще выпасть из плотного графика занятий.

Тогда Маргариткина мама, склонная, как и Женина, к нетрадиционным решениям, решила в шесть утра, пока дочь спит, поехать на Птичий рынок, купить там маленького ежа и запустить в дом. По-видимому, в маминем сознании или в подсознании застряла сказка, которую она в Маргариткином детстве читала ей вслух, — о том, как еж соревновался с зайцем в беге. Там весь обман про-



стодушного зайца основан был на полном сходстве одного ежа с другими: иголки и иголки. Маргаритке и уготована была теперь роль этого простодушного зайца.

Но ни маленького ежонка, ни среднего даже ежа на всем Птичьем рынке в то утро не нашлось. Ищущей объяснили: недавно пошел слух, что ежачий жир лечит от каких-то болезней, и теперь для этой сомнительной цели живодеры скупают ежей. Пришлось забирать единственного, который был раза в три больше и толще погибшего.

Маргаритка, как мы видели, сильно удивлялась, но обмана не заподозрила. И именно это заставляло ее отца, а потом и мать давиться от смеха и выбегать в кухню, чтоб дочь не увидела и не заподозрила неладное.

Вновь забегаю вперед, сообщим также, что Маргаритка с еще большим рвением продолжила свои занятия и в Высшую школу экономики поступила. А о невинном родительском обмане в последующие двадцать лет так и не догадалась.



ГЛАВА 5

ДИМА

Женя шла к дому, твердо и быстро ступая, будто отталкиваясь при каждом шаге от земли. Казалось странным, как это не заплетались при ходьбе ее ноги, начинавшиеся, как говорила одна подруга ее мамы, даже не от шеи, а прямо от ушей.

Если б кто посмотрел сейчас на Женю со стороны, он, возможно, нашел бы, что у нее слишком неподвижное, не по возрасту улыбочивое лицо.

Диме такие мысли в голову не приходили.

Он смотрел на нее из своего окна не отрываясь.

Когда-то Дима прочел в рассказе про одну высокую девочку, что у нее рук и ног было много, и это-то влюбленному мальчику особенно нравилось. Теперь он чувствовал что-то похожее.

Если бы кто попытался залезть сию мину-ту в его красиво постриженную, плюшевую на ощупь голову, то, наверное, разглядел бы там такие быстро-быстро, быстрее, чем в любом компьютере, бегущие строчки: «Какое милое личико. Какие глупые лица у других девчонок, особенно когда они смеются во весь рот! Какой маленький ротик — будто какой-то невиданный цветочек. Как я люблю ее ротик, и глазки, и тонкие бровки, и тонкие ручки, и длинные-длинные стройные ножки. Как мне нравятся ее волосы — не длинные пряди, неряшливо падающие на плечи и грудь, как у Синицыной, а легкие короткие волосики цвета расплавленного золота. Они стоят как облачко, так и хочется их пригладить и почувствовать под ладонью ее теплую головку...»

Но если бы тот, кто проник в Димины мысли, записал их и дал ему прочесть, то Дима, наверно, страшно бы удивился. Сам он не мог и не пытался выразить то, что чувствовал, когда смотрел на Осинкину.

Что касается золотистого облачка над Жениной головой, тут стоит упомянуть случившуюся с ней необъяснимую историю.

Дело в том, что до десяти лет волосы у Жени были такие же золотистые, но совершенно прямые. Мама делала ей обычно стрижку «каре». Но в десять лет Женя убедила маму постричь ее на лето совсем коротко. И одновременно заболела каким-то азиатским гриппом с температурой почти 41. А когда выздоровела, обнаружилось, что ее подрастающие волосы уже не хотят ложиться ровными прядями, а предпочитают топорщиться — этаким пушистым ореолом. В чем была истинная причина этой метаморфозы, установить не удалось. Но теперь их приходилось часто подстригать, чтобы они стояли все-таки облачком, а не дыбом.

Усадив Женю в ее любимое кожаное, цвета кофе с молоком, «утопающее», как она его называла, и в то же время вертящееся

кресло, Дима сел напротив на стул и стал молча (а молчать он умел) внимательно ее слушать.

И когда Женя закончила, он сказал.

— Женя, я все понял. Все сделаю. Позвони мне, пожалуйста, вечером — начиная с девяти.

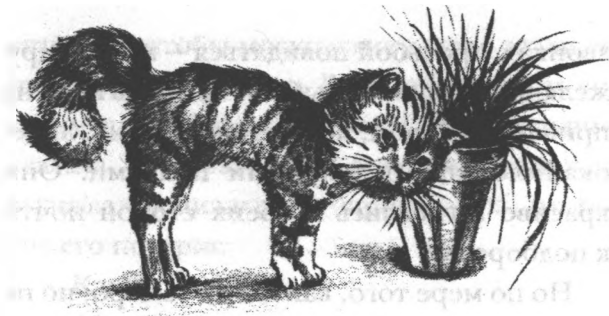
И благодарно коснувшись пальчиками его плеча, Женя сделала его на несколько дней счастливым, а сама помчалась дальше.

Путь ее лежал теперь к Лике.

И это должен был быть самый трудный, но очень важный визит.

Если бы он оказался безуспешным, все три предшествующих встречи потеряли бы всякий смысл.

Надо было попробовать убедить главного свидетеля в пользу Олега наконец заговорить.



ГЛАВА 6

ЛИКА

Ли́ка встрети́ла Же́ню в краси́вом хала́те — не в таком, который спешно снимают при звонке в дверь и чем-нибудь заменяют, а наоборот — таком, в котором гостей принимают.

Точнее же говоря, это было самое настоящее, темно-синее с золотом японское кимоно, из Японии и привезенное.

Же́ню Ли́ка (для незнакомых — Ли́дия) уви́дела впер́вые и встрети́ла — после ее

звонка с просьбой повидаться — мило и дружелюбно, с живой улыбкой на очень и очень привлекательном, по мнению многих, лице, окаймленном белокурыми прядями. Они красиво загибались с обеих сторон почти к подбородку.

Но по мере того, как Женя быстро, но не спеша и не тараторя, очень толково излагала причину и цель своего визита, эта улыбка с Ликиного лица сползала. А в конце Жениной речи девушка, казалось, вообще постарела лет на десять.

— Я думала, кассационный суд его оправдает, — пролепетала она.

Надо отдать Лике должное — не задавая лишних вопросов, она тут же согласилась написать все то, о чем Женя ее просила, и ушла в другую комнату писать.

Женя в это время сидела в холле и играла с котом Грэем.

Это был тот еще котик! Дело в том, что Лика недавно уезжала в Европу на месяц, а Грэй на это время с восторгом согласилась взять к себе ее однокурсница, остававшаяся на лето в Москве, — кореянка Соня (настоящее ее имя было, конечно, иным, но она на-

стаивала, чтобы московские друзья звали ее именно так). А когда Лика вернулась и позвонила, чтоб забрать кота, Соня смущенно сказала, что Грэю было очень жарко и она вызвала специального парикмахера, чтобы тот его постриг.

— Как — *постриг*?!

— Ну, у нас всегда стригут котов летом. Это художественная стрижка. Очень красиво.

— Всего-всего постригли?!

— Нет, не всего. На голове и на лице он пушистый. И на хвосте тоже.

И вот теперь этот невиданный в московских краях голый кот выгибал спину с обнажившимися на короткой шерстке шикарными серебристо-серыми мраморными разводами, поднимал пушистый хвост трубой и только что не подмигивал, жмурясь всем своим пушистым лицом, желая спросить: «Ну и как я вам нравлюсь?»

Лика вышла заплаканная.

— Возьми, Женя.

Она протянула исписанные листы бумаги, уже вложенные в прозрачный файл.

— Сделай где-нибудь ксерокс, прежде чем отдашь. Пусть у меня копия будет. А то я без

копирки писала, как-то не подумала — привыкла на компьютере. Ты веришь, что еще можно что-то сделать?

— А ты веришь, что нельзя, да? — Лика казалась такой юной, что у Жени не повернулся язык называть ее на вы. — Значит, мы с тобой будем жить-поживать и добра наживать — а Олег пусть сидит в тюрьме? Станет там взрослым дядькой, потом стариком? Да?!

У Лики снова закапали слезы. Она стала промокать их не бумажным платочком, как все или почти все, а маленьким изящным батистовым.

Женя не стала ей говорить того, что само напрашивалось на язык: если бы *тогда* Лика сделала то, что сделала сейчас, — *сегодня* ей, скорей всего, не пришлось бы плакать. Не стала говорить, потому что знала — Лика и сама это понимает, потому и плачет.

Впрочем, возможно, для Ликиных слез были и другие причины. На ее столике стояла маленькая, в тонкой рамке фотография красивого темноволосого молодого человека. Это был не Олег. И мы совсем не знаем того, что, возможно, хорошо представляла

себе Лика, — как именно прореагирует этот появившийся за последние месяцы в ее жизни человек на ее откровенные показания относительно одного мартовского вечера.

В этих показаниях помимо несомненного Олегова алиби была и еще одна важная деталь. Самым главным было упоминание о старой замызганной куртке, в которой был Олег в тот злополучный вечер. Женя считала, что еще есть шанс найти уномянутую Ликой записку Олега. Если бы речь шла о *новой* куртке — можно было бы, в сущности, и не ехать. Пока мы не можем, к сожалению, выразиться яснее, но обещаем, что постепенно все прояснится.

Теперь оставалось добежать до телеграфа и дать несколько телеграмм (e-mail'a — или емлек, как предпочитали говорить Женины друзья и одноклассники, в тех домах, куда направлялись телеграммы, еще не было). Там же на почте — сделать ксерокс с Ликиных показаний. И позвонить с переговорного пункта — с домашнего телефона она звонить не хотела, чтобы потом, когда придут счета, не вести ненужных разговоров с родителями про звонки в разные города и по-

селки. А с мобильного звонить по межгороду дорого, да и тратить его деньги перед дальней дорогой, которая ей предстояла, было совсем ни к чему.

Пока Женя сидела у Лики, на улице сильно похолодало. Прошел ливень, еще моросило, и резкий ветер обдавал холодными маленькими каплями лицо.

Ближайшим было метро «Профсоюзная». На захлабленном каменном полу в продувном переходе, в котором и на секунду трудно задержаться из-за пронизывающего ветра, белел затоптанный белый квадратик.

Неизвестно почему Женя наклонилась на бегу и подняла его. Это была ее фотография.



ГЛАВА 7

«НЕ ПИЛИТЕ ОПИЛКИ!»

Если бы некто взялся специально разыскивать двух тринадцатилетних девочек, разительно отличных одна от другой, то не нашел бы более подходящей для этого пары, чем Женя и ее любимая подружка Зиночка Опракундина. Воистину можно было бы сказать о них бессмертными пушкинскими строками, разученными за полтора с лишним века десятками поколений: «Они сошлись: волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень / Не столь различны меж собой».

Главным занятием Зиночки было горестное сожаление о прошлом — и только что минувшем, и очень давнем. То и дело раздавались ее певучие (голос у Зиночки звучал очень приятно) причитания:

— Ой, надо было мне не так сделать!

— Ой, зачем только я это сделала?

— Как жалко кошелечка! — А когда ты его потеряла? — В первом классе.

— Эх, если бы я купила не это, а то!..

— Ах, ну почему родители не учили меня музыке?

(Хотя, заметим в скобочках, прекрасно знала, почему — во-первых, дома не было инструмента, во-вторых, денег, в-третьих, не имелось в наличии ни малейшего Зиночкиного желания — напротив, налицо была готовность изо всех сил противиться такому намерению, и родители сдались заранее, не пожелав ввязываться в изнурительную войну: они знали Зиночкину твердость в отстаивании своих интересов.)

Она без конца горевала о том, что если бы не то и не это, то ее жизнь сложилась бы прекрасно. А теперь — чего уж... Женя, наоборот, каждый день, едва ли не с трех лет, а по увере-

ниям папы, и раньше, стремилась подчинить себе обстоятельства. (Она еще ходить не начала, а папа утверждал, что эта девочка всегда прекрасно знает, чего хочет.) Зиночка же начинала день с того, что заранее пасовала перед грядущими обстоятельствами, заранее уверенная, что уже поздно что-либо изменить. Это, впрочем, не мешало ей быть с первого класса круглой отличницей, чем Женя могла похвастаться только начиная с седьмого, когда, по выражению папы, взялась за ум.

Как-то в однодневном походе не оказалось с собой в лесу достаточно воды. Всех мучила жажда, но причитала одна Зиночка. Женя умудрилась достать для нее воды и напоить, и вскоре сзади послышался стон:

— Ах, как же я хотела пить!..

Точно такой же была и мама Зиночки. Если к ней приходила соседка выпить чашечку кофе (который, надо отдать должное, Зиночкина мама варила на пять с плюсом), то вскоре любой, кто стал бы подслушивать, услышал:

— Ах, я теперь понимаю, что напрасно отдала Зиночку в английскую школу — надо было во французскую!

Она объясняла — и вполне убедительно, — что во французской школе «совсем другая атмосфера — понимаете, французский люди сегодня учат для собственного удовольствия, а английский — для бизнеса. Большая разница!» Все было правильно, кроме одного — обсуждать эту тему не имело уже никакого смысла. На этот счет есть, кажется, как раз английская поговорка, которая переводится — «Не пилите опилки!»

Женя обычно тщательно обдумывала свои решения — по любому поводу, от мелкой покупки до серьезных поступков. Но уж приняв решение и выполнив его, она, в отличие от Зиночки, никогда не предавалась бесплодным сетованиям — даже если решение оказывалось в результате не самым удачным. В этом случае она думала только о том, как свести на нет или уменьшить обнаружившийся вред. То есть — не о прошлом, а о будущем.

Любимым занятием Зиночки после уроков, которые она готовила молниеносно, было влезть в Интернет и висеть в нем, главным образом в чате. С особенной страстью она предавалась этому разговору всех со все-

ми в реальном времени по воскресеньям. И каждую субботу, расставаясь, спрашивала Женю:

– Ты завтра пойдешь чатиться?

– Зачем? – неизменно интересовалась Женя.

– Ну... пообщаться!

– Давай сейчас пообщаемся? – предлагала Женя. И Зиночка начинала смеяться. Она вспоминала, что то же самое Женя отвечала ей и в прошлую субботу, и в позапрошлую, а лучшая подруга все никак не могла привыкнуть к стойкому Жениному равнодушию по отношению к этому замечательному занятию. Зиночку немного утешало то, что за новыми клипами Земфиры они следили все-таки вместе.

Эта разнота, повторим, ничуть не мешала им дружить, делиться самыми сокровенными тайнами и нежно любить друг друга.

Теперь Женя спешила хоть ненадолго забежать к Зиночке, чтобы попрощаться перед отъездом.

Она, конечно, не собиралась рассказывать ей о таинственной находке (зачем волновать подругу, которая и без того взволну-

ется ее неожиданным отъездом, в особенности же — его причиной). Эта находка — поднятая ею в грязном подземном переходе фотография — казалась Жене все более и более зловещей. Она надеялась повнимательней рассмотреть дома свое изображение и тогда уж раскинуть мозгами, что к чему.



ГЛАВА 8

ПОСЛЕДНИЙ МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕР

На переговорном пункте была особая атмосфера тихой торжественности.

Люди сидели в ряд, будто в оцепенении. Раздавался возглас: «Караганда — пятая кабина» — и человек срывался и, теряя вещи, упавшие с колен, устремлялся в кабину.

Сквозь стекла были видны лица, беззвучно шевелящие губами. Кто улыбался — лука-

во, кокетливо или размягченно. Кто плакал, сообщая печальную новость.

Женя два раза поговорила по автомату и два раза заказывала срочную связь с теми нужными ей местами, с которыми автоматической связи не было.

Отправив три телеграммы (оставалось послать дома еще два письма по e-mail'у) и сделав копии с Ликиных бумаг, она отправилась домой. У Зиночки Женя уже побывала, хотя провела у нее времени гораздо меньше, чем им обоим хотелось. Зиночка в ужасе тарасила свои карие глазки, слушая торопливое изложение ситуации, которая звала ее любимую подругу в дальнюю и, возможно, опасную (Зиночка была-таки порядочной трусихой, но за других боялась еще больше, чем за себя) дорогу.

— Но что же ты можешь сделать?! — несколько раз восклицала Зиночка, слушая Женин рассказ. И всякий раз тут же сама отвечала: — Да, ты, конечно, можешь...

Под конец подружки нежно расцеловались, и Зиночка еще, как выучила ее бабушка, перекрестила Женю перед таким дальним путешествием, стараясь при этом

не спутать и начать с правого Жениного плеча, которое, как вы уже поняли, было напротив Зиночкиного левого.

В девять вечера Женя, как было условлено, уже из дома позвонила Диме, сообщила о своих успехах и стала слушать его.

Спокойный, медлительный Димин тон всегда действовал на нее, как на бабушку валерьянка. (Правда, Женя так и не могла понять, как может кого-то успокаивать такое лекарство, от одного запаха которого бабушкин Рыжик сходит с ума и начинает прыгать на стены и когтить ковер и диван.)

— Женя, отец все сделал. Завтра в шесть утра — он советует выезжать рано утром, позже по Кольцевой не протолкнешься, — у твоего подъезда будет стоять черная «Волга». С тобой поедут два водителя-«афганца». Они молчаливые мужчины; ты не обращай на это внимания. Это очень верные ребята, папа сказал, что с ними он будет за тебя спокоен. Крупные деньги — Маргаритка, ты говоришь, твердо договорилась? — лучше отдай на хранение им, целее будут, как отец мой выражается. Машина пойдет без остановки, водители будут спать по очереди. Те-

бе тоже предстоит спать в машине, на заднем сиденье; возьми небольшую подушку, что-нибудь укрыться, воды бутылку — чтоб время не терять на остановки.

Женя была растрогана. Слушая, она так и не смогла понять — это сам Дима так все заботливо продумал или повторяет за отцом.

Звонки все сделаны, телеграммы отправлены. Всем сообщен телефон Фурсика — у него в квартире будет штаб операции, все станут связываться через него. Фурсик при ней взял чистую тетрадку и написал на обложке: «Операция “Потьма”».

Такое название он дал, выслушав рассказ о звонке матери Олега, и Женя согласилась. В этой никому из них неведомой Потьме сидел в камере с убийцами Олег и ждал помощи — от кого-нибудь.

Фурсику Женя оставила дубликаты необходимых документов, в том числе неважного качества фотографию улыбающейся миловидной девушки, которой уже не было в живых.

Едва Женя успела подумать, что крупных денег пока еще нет — только те, что оставлены мамой на две недели, как раздался звонок в дверь.

Женя спросила через дверь (как на этом всегда настаивал папа):

— Кто здесь?

Высматривать стоящего у их двери в глазок она все-таки терпеть не могла и так и не привыкла.

Ей ответили:

— К Евгении Осинкиной от Станислава Всеволодовича, по договоренности.

Женя открыла.

На пороге стоял невысокий тщательно одетый — не джинсы, не ветровка, а пиджак оливкового цвета и темно-серые брюки — молодой человек. Очень любившая красивые сочетания цветов (и неплохо, заметим, рисовавшая пастелью и акварелью), Женя успела рассмотреть и галстук — серо-голубой в оливковую, но более темную, чем пиджак, полоску. Человек будто только что вышел из парикмахерской. Стрижка была и не короткая, и тем более не длинная. В общем, точь-в-точь такая, как у добропорядочных служащих богатых фирм в американских боевиках. (Папа стыдил Женю, но она все равно обожала смотреть, что проделывает на экране де Ниро.)

– Позвольте войти?

– Входите, пожалуйста, – подчиняясь его тону, чопорно сказала Женя и провела визитера в комнату, потому что раз и навсегда было сказано мамой: «У дверей людей не принимают!»

Слава Богу, молодому человеку, по крайней мере, не пришлось в голову разуваться. Принимать гостей в носках или переобувать их в старые тапочки в их доме также было запрещено: «У нас не мечеть!» – четко, как всегда, сказал однажды папа. Женя только не решалась повторять эту очень нравящуюся ей мотивировку (что в мечеть можно ходить только без обуви, папа, конечно, ей пояснил) – в устах девочки это как-то не звучало. Исключение в их доме делалось только для тех случаев, когда в осеннюю слякоть или зимнюю оттепель гости являлись с насквозь промокшими ногами и нуждались в отоплении и просушке обуви. (Из этих оттепелей, заметим в скобках, на коротком Женином веку и состояли главным образом московские зимы, и уже невозможно было поверить рассказам бабушки о когдатошнем Сокольническом катке, работавшем якобы

с пятого декабря до середины апреля). Ну и, конечно, приходя на какие-то домашние праздники зимой, женщины снимали сапоги и надевали принесенные из дому подобные к платью туфли. «Но не тапочки же!» — говорила мама.

— Имею честь говорить с госпожой Осинкиной? — осведомился молодой человек.

— Да, это я, — ответила Женя.

— Получите, пожалуйста... — молодой человек назвал сумму, составлявшую, быстро сосчитала в уме Женя, полугодовую зарплату ее отца, — пересчитайте и распишитесь.

Все было проделано, и, раскланявшись, молодой человек удалился. Маргаритка, как и ожидала Женя, оказалась на высоте.

Полтора часа ушло на сборы, приведение квартиры в порядок и писание объяснительной записки маме — если вдруг она вернется раньше Жени.

Можно было, наконец, заняться абсолютно необъяснимой историей с ее фотографией.

Теперь, быть может, самое время сказать, что Женя не была заурядной тринадцатилетней девочкой, чья головка занята тем,

чем заняты головы большинства тринадцатилетних девочек. Она обладала склонностью к анализу. И не раз ей удавалось распутывать ситуации, над которыми ломали голову взрослые опытные люди. Сама она считала, что просто любит упрощать уравнения.

Большинство людей почему-то не умеют, считала она, отделять важные детали от второстепенных. И когда какая-нибудь подружка излагала ей, всхлипывая, свою вконец, казалось, запутанную историю, из которой, на первый взгляд, и правда не было никакого выхода, Женя наводящими вопросами быстро выясняла, что в этой истории надо отбросить как вообще несущественное, а что можно легко разрешить, никак не связывая со всем остальным. И тогда в остатке оказывалось само ядро ситуации. Оно, как правило, требовало, чтобы человек сделал *выбор* — и на основе этого принял решение. Но не только принял, а — выполнил. Все это требовало приложения *воли*. Женя где-то вычитала, что в трудных ситуациях выбор делается не умом, а волей — потому что ум подсказывает одинаково убедительные варианты действий.

Но волей, к сожалению, обладают далеко не все жалующиеся на жизнь и винящие во всем других — вместо того чтобы честно сказать: «Я — безвольный человек и ничего не делаю для того, чтобы укрепить свою волю. Отсюда — половина моих бед, а то и больше».

Сама Женя была человеком волевым. А кроме того, она просто любила и умела думать — тогда как большинство девочек ее возраста, да, честно говоря, не меньше и мальчиков, и не подозревают о том, сколько удовольствия можно извлечь из самого процесса мысли.

Итак, Женя положила фотографию на чистый, освобожденный от всех лишних бумажек стол и вытащила из ящика большую лупу.

Во-первых, даже при беглом взгляде на довольно-таки размытый отпечаток стало ясно, что это была перепечатка — не с негатива, а с фотографии.

Во-вторых, фотография была давняя — Жене на ней было не больше десяти лет.

В-третьих, она была скадрирована из какого-то группового и Жене явно знакомого снимка.

Она взяла семейные альбомы, которые тщательно вел ее папа, и быстро нашла оригинал. Это была фотография 4 «Б» класса, где Женя красовалась во втором ряду ближе к середине (тогда она еще не выросла и не заслоняла собой третий ряд).

Таинственная ситуация упрощалась — то есть прояснялась в технической части. Итак, некоему человеку понадобилась Женина фотография. И он не добыл ее каким-то образом у них дома (что было бы уже не только загадочно, а в высшей степени неприятно — пришлось бы плохо думать о друзьях дома). Нет, он нашел ее у кого-то из тридцати двух учащихся 4 «Б» и старательно (ведь надо было отсечь и первый, и третий ряд, и соседей слева и справа) выделит только Женино лицо.

Значит, оно ему было очень нужно. И при этом он по какой-то причине не мог попросить Женину фотографию у кого-то из ее близких и друзей. И потому добывал с ухищрениями, удовольствовавшись давней фотографией. Если, конечно, фотография не понадобилась неизвестному злоумышленнику (Жене нравилось это слово из рассказа Че-

хова) именно в тот самый год, когда Жене и было десять лет, а теперь выброшена за ненадобностью.

Но как ни крути, все это вместе не могло не наводить на мысль, что Женино лицо нужно было кому-то для особых целей — по меньшей мере недружелюбных, а по большей...

Кто-то задумал против нее что-то злое. Но кто и что? И когда — давно или сейчас?

С этими очень и очень невеселыми мыслями и вопросами Женья и заснула.





ГЛАВА 9

САНЯ И КАЛУТА ВЫДВИГАЮТСЯ

В шесть утра Женя полностью отключила компьютер, перекрыла ключом газ на кухне, проверила, не оставила ли где свет, не капает ли вода из какого-нибудь крана, вышла на площадку, захлопнула дверь, подергала ее (однажды дверь все-таки оказалась незапертой) и с довольно большим рюкзаком, а также с сумкой, набитой самым необходимым

в дороге, спустилась на лифте вниз. Ключ от почтового ящика она еще вчера вечером оставила старушке-соседке и заглянуть туда уже не могла.

У подъезда стояла черная «Волга». Как только Женя вышла на улицу, обе передние двери открылись и из них, как по команде, вылезли двое мужчин одного примерно возраста — лет 35—40. Невысокие, коренастые, с невозмутимыми лицами, они чем-то неуловимым были похожи.

Оба подошли к Жене, сначала взяли у нее вещи, а потом поочередно протянули руки:

— Саня.

— Леша.

Женина ладошка утонула в их осторожных лапищах. И хотя по возрасту они были ей, несомненно, «дядя Саня» и «дядя Леша», она сразу почему-то поняла, что будет звать их по имени.

Больше они не проронили ни слова. Рюкзак положили в багажник, сумку поставили рядом с Женей на заднее сиденье.

— Вот деньги, спрячьте, — сказала Женя, как советовал Димин отец.

И Леша засунул их куда-то на грудь.

— Выдвигаемся? — полувопросительно сказал Саня, садясь за руль. Леша, расположившийся рядом, кивнул-мотнул коротко стриженной головой.

«Волга» осторожно попятилась задом, выезжая из Жениного двора.

Путешествие началось.

Через десять минут они уже неслись по Московской кольцевой дороге (некоторые противно называют ее Эмкадэ).

Впереди, на востоке (а именно на восток, а еще точнее — на юго-восток — они и держали свой путь: к Рязанке — дороге, ведущей на Рязань) низко над горизонтом сияло багровое, как луна, солнце. Слева от дороги лежал пухлыми перинами туман. А справа проплывали гипермаркет «Ашан», супермаркет «Перекресток».

Вырвались на Рязанку. Солнце установилось слева и засияло уже нестерпимо для глаз. Двинулись на юг.

Посредине дороги полз, мигая всеми боками, бензовоз, и его послушно огибали.

После указателя на Бронницы пошли рощи, перелески и пригорки. А далеко впере-

ди замаячили дали. Женя очень любила, чтоб было видно далеко-далеко.

Пролетел указатель — 200 километров от Москвы. Промелькнули непонятные *Каленичские дворики*, потянулась Рязанская область, объявившая о себе так: «Деревня Константиново — родина Есенина — приветствует дорогих гостей».

Шел третий час езды, когда Жене потребовалась остановочка. Сосновый лес был забросан большими пластмассовыми бутылками из-под разных напитков — теми самыми, про которые все знают, что они не разлагаются десятилетиями, не превращаются в перегной, не питают собой растения, а просто подло засоряют землю.

Она читала в одной книжке про оккупационные армии, которые во все времена вели себя нагло, оставляя после своих ночлегов в лесах заплыванные, загаженные стоянки. Но ведь это были *чужие* армии! Они шли по чужой, завоеванной оружием земле.

Почему же люди бросали огромные бутылки, пакеты из-под соков, жестяные банки, рваные газеты в красивом своем лесу, в который могли еще не раз вернуться?

Наскоро выполнив несколько приемов каратэ, Женя вернулась в машину. Единственно, от чего она уже начинала страдать, — это от невозможности поставить ногу на стену и стоять не меньше получаса, читая какую-нибудь книжку или уча иностранные слова. Ее подруги по секции в это время слушали обычно попсу, но она не могла себе позволить так тратить драгоценное время.

За спиной остались уже 400 километров с лишним. Пролетали непонятные слова на указателях — *Шевырляй* и *Казачий джук*, город со странно-коротким, как лай, названием Шацк, основанный будто бы в 1553 году... На быстром ходу Женя сначала прочитала «...в 1953». Это было довольно давно — Женина мама в том году еще не родилась, но кто-то умер, а кто — она никак не могла вспомнить.

На выезде из города был еще один плакат, и теперь она успела прочитать правильно — «1553», то есть так давно, что представить себе это и с чем-то связать было почти невозможно.

После какой-то большой реки всюю пошли работы — расширяли *полотно* дороги

(это выражение, когда-то от кого-то услышанное, Жене нравилось — как и *полотнище* пилы). Медленно проворачивался тяжелый каток. Экскаваторы загребали своими огромными челюстями светло-желтый песок, готовый скрыться под черным асфальтом.

Дорога пошла широкими волнами — подымалась вместе с полями, вздымавшимися к горизонту, и вдруг ухала вниз. Указатели так и пролетали мимо, иногда Женя успевала прочесть, что всего в двух километрах Студенец — то ли городок, то ли село. На полях стояли аккуратно, как сладкий рулет, закатанные золотистые валки соломы, оставшейся от убранной пшеницы.

В полдень началась Республика Мордовия и, едва успев мелькнуть указателем на Саранск, закончилась — ведь они неслись со скоростью 120 км и быстро проскочили прятанную налево в лесах, оставшуюся не замеченной Женей Потьму, где километрах в семидесяти от станции Явас, в обнесенной несколькими рядами колючей проволоки поверх высокого забора и тщательно охраняемой зоне Олег Сумароков отбывал первую неделю своего пожизненного заключения.

Приближались к Пензе, и появилось на указателях непонятное слово «Павелмс» и более понятное, хотя только на первый взгляд, «Овчарное». Под высоким деревом у дороги мирно что-то жевала лошадь рядом с повозкой с клоками сена на дне.

Пространство как будто все расширялось. Страна распахивала перед Женей свои просторы.

Машина затормозила.

— Калуга, выдь, посмотри левую фару, — бросил Саня.

Леша полез из машины.

Оба они были «афганцы», то есть отвоевали по два года в Афганистане, в одном отделении разведроты. В том отделении было их четверо. Саня из Москвы, Алексей — из Калуги (за что и получил на веки вечные именование «Калуга», по-другому его никто во всей роте не звал), их командир — сержант Василий из Горно-Алтайска и Славик Мякота из-под Вязьмы. Там, в деревне на шесть оставшихся дворов, доживала сейчас свой век его мать. Славик был у нее один, поздний. Вот уж двенадцать лет они втроем каждый год ездили на его могилу, останавли-

вались в деревне на два-три дня и помогали Славиной матери по хозяйству. В том бою погибнуть могли все четверо, но Слава их прикрыл. Сержант потерял руку, но его из-под огня они вытащили живым.

Генерал-лейтенант Георгий Иванович Шуст (что по-украински значит «буравчик»), ныне известный каждому российскому десантнику, тогда был молодым подполковником. И не было во всей дивизии офицера, бережней его относящегося к своим бойцам. Воевали у него не хуже, а может, и лучше других, а потерь было несравнимо меньше.

Через несколько лет после вывода войск из чужой страны Георгий Иванович разыскал ребят из того отделения, которое славилось храбростью и уменьем, потому не вылезало во время войны из дозора и сберегло немало жизней в своей роте да и во всем полку. Разыскал и позвал к себе водителями.

Сказать, что эти двое были преданы ему, — значит не сказать ничего. Он уверен был в них, как в себе самом. Вчера генерал-лейтенант (иначе они его и между собой не называли) вызвал обоих и сказал:

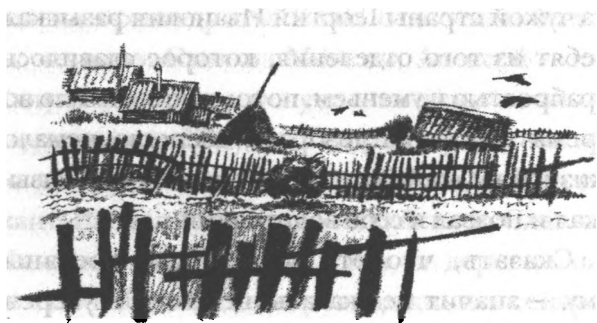
– Повезете в Сибирь девочку. У нее там серьезное дело. Надо обеспечить операцию. Машину возьмете мою, я на джип пока пересяду.

Помолчал и добавил:

– Кажется, барышня моего сына.

После этих слов генерала Шуста мы никак не позавидовали бы тем, кто задумал бы против Жени что-то плохое.

Всех мотивов поступка генерал-лейтенанта Саня и Калуга не знали и ими не интересовались. Они думали только о том, как возможно лучше выполнить полученное задание.





ГЛАВА 10

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ШУСТ

Было бы весьма опрометчиво с нашей стороны оставить читателя в недоумении относительно того, почему же генерал-лейтенант Шуст явно без долгих колебаний дал тринадцатилетней девочке на две недели машину и двух водителей впридачу — пусть даже и для очень серьезного дела, даже и по просьбе своего единственного сына.

Старший сын Георгия Ивановича погиб во время Первой чеченской войны, 31 декабря 1994 года, при попытке взять Грозный

непрерывно в новогоднюю ночь, как захотелось этого по какой-то сугубо личной причине, чуть ли не по случаю своего дня рождения тогдашнему министру обороны России. С тех пор и до сего дня никто не рисковал произносить при генерал-лейтенанте имя Павла Грачева.

Тело его сына долго валялось тогда на одной из улиц Грозного вместе с десятками (говорили, что и сотнями) тел других участников кровавого и бессмысленного боя. Чеченцы, глубоко уверенные, что каждый воин имеет право быть похороненным, обращались к своим врагам с просьбой объявить на сутки перемирие и забрать трупы солдат: «Ведь их на наших улицах собаки едят!» Но никто не озаботился преданием тел своих воинов земле.

Как сумел генерал найти и вывезти тело сына, он никогда и никому не рассказывал — как и о том, в каком виде лежал его сын в закрытом гробу, привезенном в Москву. Гроб пришлось открыть — для матери. После этого его сорокатрехлетняя жена за одну ночь поседела до белизны. Своего первенца она пережила всего на год, оставив на руках мужа семилетнего Диму.

У генерал-лейтенанта был свой и совершенно определенный взгляд и на первую, и на вторую чеченские кампании, очень и очень расходившийся с государственной политикой России — равно как и с мнением многих ее граждан, сожалеющих, что власть не взяла за образец действия Сталина и не свела всех чеченцев вообще под корень («вместе с младенцами», как любят уточнять эти граждане). Но, будучи человеком военным, он не считал для себя возможным свое мнение афишировать.

Генерал-лейтенант Шуст был человеком умным. Это качество никак не является достоянием всех генералов. Но зато в тех случаях, когда ум совмещается с генеральским званием, это нередко дает его обладателю несомненные преимущества — тогда ум соединяется с быстротой принятия решений, чем далеко не каждый штатский умник, как известно, может похвастаться. И второе — умные генералы знают, что решения принимаются не для того, чтобы над ними размышлять по новой, а исключительно для того, чтобы их тут же и выполнять.

Выслушав просьбу младшего сына, отец задал несколько вопросов и полностью уяснил для себя ситуацию. Семью Жени он знал, ее — тоже. Он выделил из услышанного главное — случилось так, что девочка осталась одна на 10—12 дней. Ее сейчас не удержит никто, она *все равно* поедет спасать человека, попавшего в такую беду.

Если не помочь — она поедет одна. Чем грозит тринадцатилетней девочке такая поездка, объяснять никому не надо. Что он скажет ее родителям и своему сыну, если с ней что-то случится? Еще генерал-лейтенант подумал о том, что плохи дела в стране, если детям выпадает исправлять ошибки правосудия: как он понял, по делу, которым была озабочена девочка, и кассационную жалобу уже отклонили — приговор вступил в силу. Чтобы оправдать невинного, девочке предстояло, в сущности, ни много ни мало как найти убийц. Понимала ли это сама Женя? Но все эти мысли он временно отложил в сторону, как не относящиеся к тому, что мог и должен был сделать он лично.

Генерал-лейтенант Шуст принял решение и сразу же стал его выполнять.

Вот почему его «Волга» пересекала сейчас просторы европейской части России.

Машина шла ходко, Женя задремала на заднем сиденье и не заметила ни реку Мокшу, протекавшую через районный центр Мокшан, ни Пензу. Что ей снилось, мы не знаем. Говорят, что во сне человек может иногда увидеть то, что реально происходит в этот самый момент где-то в другом месте и имеет к нему отношение. Тогда, возможно, она видела во сне двух молодых мужчин в одинаковых длинных черных плащах, встретившихся в Москве на ступенях Центрального телеграфа и тут же двинувшихся по Тверской в сторону Пушкинской площади. Возможно, ветер донес до спящей Жени и несколько реплик из их негромкого разговора: «Куда поехала?... Поезжайте вслед», — и она почувствовала безотчетный, но очень сильный страх.

Машину покачивало на быстром ходу, и просыпаться Жене не хотелось. Открыла она глаза сразу после Пензы.

На высоком столбе укреплена была вывеска птицефабрики — орал, нахохлясь, черночугунный петух. А на завалинке избы с по-

пензенски богатыми, кружевными белыми наличниками и выкрашенными густо-желтой краской простенками между окон сидели старухи, как двести лет назад.





ГЛАВА II

ВАНЯ-ОПЕР

Дорога впереди, на которую теперь, не отрываясь, смотрела Женя, то резко срезалась вдруг придвинувшимся горизонтом, то протягивалась далеко-далеко, туда, где две ее зеленые обочины сходились в одну точку. Золотели убранные поля. Солнце только начало свой путь к горизонту, когда около пяти путешественники въехали в Городищенский район Пензенской области. Потянулись по обе стороны дороги длинные, чахлые, пят-

нистые — черно-белые, как коровы-холмогорки, приневоленные к порядку березы лесозащитных полос.

А вдали выбегали на холмы вольные березовые перелески. Дальше и дальше они превращались в леса, леса густели. Блеснули тихие воды реки, называвшейся Сура.

Столбик с выцветшим указателем «Пионерский лагерь “Сказка”» венчал профиль Главного Сказочника. Так сказал бы скорей всего Женин папа. А дедушка при этом покивал бы согласно головой. Но Женя так не думала — она видела только, что профиль чем-то ей знаком, но так и не вспомнила, кто это.

Жене оставались примерно сутки езды до Златоуста — первой ее остановки. Там между тем происходили события, не предусмотренные отработанным ею в Москве совместно с Фурсиком планом.

Ваня Грязнов, сын полковника милиции, больше известный по причине профессии отца под кличкой Ваня-опер, готовился покинуть отчий дом.

Отец его служил не в самом Златоусте. Возглавляемое им подразделение ГИБДД контролировало участок федеральной трас-

сы от Миасса до Челябинска. Про этот именно участок давно ходила дурная слава. От рэкетиров, останавливавших машины, шедшие главным образом из Москвы и в Москву, продыху не было. Но в милицию почему-то никто из нагло ограбленных не обращался — то ли сами не могли полностью в соответствии с законами отчитаться за свои грузы, то ли не верили, что найдут помощь.

До поры до времени Ваня нисколько не задумывался над тем, как живет его семья. Их с младшим братом родители обували-одевали, перед первым сентября «обмундировывали», как выражался отец, не отказывали в спортивных принадлежностях, которые, правда, становились все более дорогими. И это-то и заставило Ваню впервые задуматься — откуда берутся большие деньги в их семье?

Когда прошлым летом он оказался в спортлагере и понимающие ровесники начали оценивать его упаковку и прикид, у Ивана засосало под ложечкой. Вернувшись домой, он стал невольно прислушиваться к мачехиным разговорам с подругами о часиках, брошках и ожерельях и к отцовским вполголоса, на полусловах беседах по телефону с сослуживцами.

Ваня не знал, какую была его мать. Ее убили бандиты, когда ему было три года, — мстили отцу. Но по каким-то признакам, разговорам теток, бабушки он чувствовал, что она была другая. И отец до ее смерти был другим — честным, не желавшим иметь дело с бандитами: принимать их условия — и не трогать их. По тихим разговорам родных Ваня понял, что за это и расплатилась своей жизнью его жена, Ванина мама.

Получалось, что ее смерть отца напугала. Это было понятно. Но ведь испуганным нечего делать в милиции. Тогда надо было из милиции уходить. Отец остался.

И вчера вечером все вдруг встало на свои нехорошие места. Несколько дней назад в доме приятеля Ваня слушал рассказ их гостя, только что приехавшего из Новосибирска на машине, — «афганца», работающего, как выражались сослуживцы отца, в президентских структурах. Тот неторопливо повествовал, как у Челябинска стали «очень грамотно тормозить» его машину:

— Красный жигуль разворачивается, перекрывает путь. А слева девятка открывает

окно, оттуда говорят: «Останавливайтесь, платите деньги и проезжайте»...

— А ты? — ахая, спрашивала мать Ванино-го приятеля.

— Что я?.. — похохатывая, продолжал гость. — Я, конечно, останавливаться не думаю, говорю им в окно, а на них и не гляжу: «Вы, ребята, берега попутали — это администрация президента по Уральскому округу!» Ну, они, конечно, перестроились, стали отставать, а один еще обиженно говорит: «Так бы и говорил. А чего же хамить — берега попутали!..» Ну, я был, конечно, психологически готов — Челябинск что в одну, что в другую сторону без рэкетиров не проедешь. И всегда в ста метрах от поста ГИБДД этого!.. Чтобы деньги сдавать ближе, что ли?..

Гость не знал, кто у Вани отец. А хозяйева постарались быстро сменить тему. Но не запомнить колоритный обмен репликами было невозможно.

И вот вчера, накануне своего выходного дня, отец вечером пришел с сослуживцами. Сразу сели выпивать. Отец не знал, что Иван дома, и говорил громко.

— Последние дни орлы наши что-то совсем мышей не ловят!

— Если мышей — то почему орлы? Коты, значит... — пьяно возразил один из гостей.

— Почему — коты? А мышь-полевка? Орлы ее очень даже приветствуют.

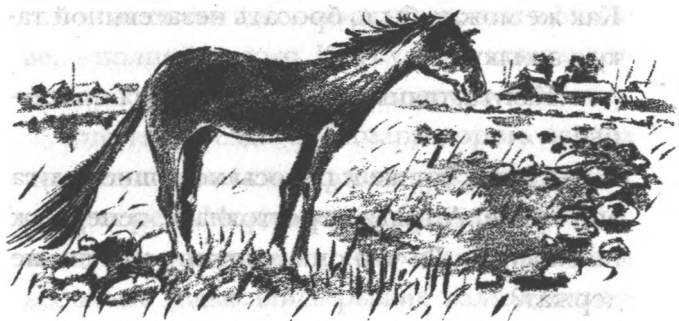
После короткой дискуссии насчет фауны отец сказал:

— А один, они рассказывают, им так загнул: «Вы что, ребята, берега попутали?» И будто бы из аппарата нашего полномочного... Так пустые к нам вечером и подъехали.

— Да ты слушай их больше! Ловчат, скрытничают...

Затихли. Только слышен был звон стопок и криканье. А у Ивана на несколько мгновений будто остановилось сердце.

Он не спал всю ночь. Ему казалось, что за эту ночь он стал старше на много лет. А наутро решил уйти из дома. Мачеха о нем не пожалевает. Хоть он и звал ее по просьбе отца мамой, матерью ему она стать не захотела или не смогла. Жалко ему было только младшего брата. «Сделают из него такого же вора», — горько думал Ваня.



ГЛАВА 12

УРАЛ. ЕВРОПА И АЗИЯ

Женя между тем пересекала Ульяновскую область.

— Слышь, Калуга, что тут, мужики совсем, что ли, завили горе веревочкой — уже не сеют, не пахут?

Саня, с виду небрежно, еле касаясь, держа руль, изумленно озирался по сторонам.

Зрелище и правда было странное.

На протяжении всего пути по области вокруг были видны только заросшие лебедой поля. Хотя, как помнила Женя из геогра-

фии, область входила в полосу черноземья. Как же можно было бросать незасеянной такую землю?

— Калуга, глянть — тыщи гектаров не засеяны!

— Санек, тут же и покосы хорошие — луга вон какие! А трава перестоялась, теперь уж не скосишь. Да что они, скотину, что ли, не держат?

Остановились заправиться; вышла и Женя — как всегда, постоять хоть по минуте на каждой ноге, подняв другую повыше, и сделать несколько приседаний на растяжку. Леша-Калуга говорил с заправщиком:

— А чего — вы скотину не держите?..

— Почему не держим? Держим.

— А чего ж траву не косите?

— А попробуй покоси — сразу под суд попадешь. Не дают никому.

— Кто не дает-то?

— Начальство. Власти.

— А сами чего ж не косят?

— Говорят — денег нет.

Переехали реку Ардовать, затем Сызранку — 35 километров до Сызрани, 240 — до Самары. Пошли пологие всхолмия, простер-

тые до самого горизонта. Жене казалось, что и дышится здесь по-другому, чем в Москве, — полной грудью. Как будто открывавшиеся просторы расширяли ее грудную клетку.

Спустя час езды от Самары дорога начала нырять и взмывать гораздо чувствительней, чем перед Мордовией. Сначала мягкие всхолмия накатывали на равнину, а потом все выше вздымались рыжие холмы, становились все круче и прорезались оврагами. Это были отроги Урала.

Уже темнело, и Жене было обидно, что она не увидит, как начинается Урал — через двести километров, как сказал Саня. На минуту остановились почти в полной уже темноте — и вдруг справа из леса послышался страшный крик.

Кричала девушка. Тут они разглядели, что впереди на дороге стоят два мотоцикла — без людей. Один с коляской. Саня и Леша, не раздумывая, выскочили одновременно из двух передних дверец и, крикнув Жене: «Из машины никуда!», оба кинулись в лес.

И очень скоро из леса донеслись уже другие крики, не женские, а мужские. Что там происходило, Женя, конечно, не видела.

А там было четверо не то чтобы пьяных, но отнюдь не трезвых местных парней. Младшему двадцать, старшему — двадцать четыре. Когда первого же Саня одним пинком сбил с ног, а второй от удара Леша в скулу отлетел и, стоя на четвереньках, стал выплевывать зубы, раздался ровный голос Калуги:

— Все отслужили?

Кто-то пролепетал:

— Все...

— Значит, родине урона не нанесем, — удовлетворенно подхватил Саня, сделал захват и дернул самому крупному, который только что прижимал вырывающуюся девушку к земле, руку из плеча. Тот завыл.

Оставив всех четверых на лужайке под деревьями в лежачем положении и пообещав на обратном пути подъехать и добавить, приятели вывели из леса рыдающую девушку, на которой были джинсы, выпачканные в земле, и в клочья разорванная блузка. Они посадили ее назад к Жене и уселись сами.

— Куда едем? — коротко спросил Леша.

— Я в Похвисневском районе живу... Далеко, пятьдесят километров... — девушка говорила еле слышно, уткнув лицо в ладони.

— А сюда-то тебя как занесло?

— А у нас клуб не работает... На дискотеку только в Клявлино ездим...

— А чего ж с четырьмя пьяными поехала? Они ваши, что ли?

— Похвисневские... Они когда сюда ехали, не пьяные были... Тут напились...

— Так ты что села-то к ним? Не понимала, что ли?.. — не выдержал Леша. — Тебе лет-то сколько?

— Шестнадцать... А как мне домой добраться? — и девушка опять горько-горько заплакала. — Пятьдесят километров пешком-то не пройти...

Тут заговорила Женя, до этого слушавшая разговор, вдавившись в угол сидения, с расширенными от жалости к девушке глазами.

— Ты в школе учишься? А как тебя зовут?

— В одиннадцатый пойду... Оля...

— А что, Оля, у вас там хороших мальчиков совсем нет?

— Так пьют же все! — выкрикнула Оля, не переставая плакать уже навзрыд. — С десяти лет уже все пьют! Моя подружка в восемнадцать лет замуж вышла — полгода назад... Со школы дружили... Так он ее уже бьет!

Всю недолгую оставшуюся дорогу Оля проплакала. Сквозь горькие слезы она рисовала безрадостную картину жизни девушек в ее поселке и в селах вокруг. Из ее рассказа вытекало, что никакой надежды у них не было — иной жизни, кроме как со спившимися или спивающимися мужьями, будущее не сулило. Только те, кто уезжали в город, могли на что-то рассчитывать. Но это мало кому удавалось и не всегда хорошо кончалось.

Женя примолкла. В Москве, среди книг, телефильмов «про любовь», рассказов маминных подруг про чьи-то трогательные романы и удачные браки (может, про другие случаи при ней просто не говорили?) будущее выглядело иначе.

Глядя на полосочки, оставшиеся от Оливной блузки, — девушка придерживала их руками на груди, — Женя представила, как Оля появится в таком виде перед своей мамой, и попросила Саню остановиться. В багажнике она распатронила свою сумку и нашла для тоненькой Оли подходящий салатový топик. Та тут же за багажником и переделалась, благодарно поцеловав Женю в щечку.

Они высадили зареванную Олю у ее ка-литки и двинулись дальше.

Ночью проехали Татарстан и Башкортостан — Женя их так и не увидела: она сладко спала, уютно свернувшись на заднем сиденье. Длинные ноги ей не мешали — они легко подтягивались к животу и нисколько не затекали.

В шесть утра по московскому времени (в восемь по местному) все плавало в молоке тумана. Въезжали на Урал, но видна была только дорога. Водители поставили машину на обочину и проспали три часа.

В полдень по-местному Урал открылся взорам, залитый солнцем. Справа внизу был город со сказочным названием Сим, и над ним, высоко над обрывом, под которым он простерся, парили черные, как копоть, коршуны. Проехали первый перевал. Справа от дороги стояли заброшенные фермы с обнаженными стропилами.

«Устькатавский лесхоз» — на вывеске был изображен олень. «Катав-Ивановск». «Усть-Катав. Основан в 1758». Справа — маленькое картофельное и капустное поле.

За рулем сидел теперь Леша. Саня взял мобильник, лежавший на панели прямо над

коробкой скоростей (единственное, как объяснил он Жене, неподвижное место в машине), и набрал номер.

— Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант. Выполняем задание. Идем по Уралу. Обстановка штатная. Рады стараться, товарищ генерал-лейтенант.

Самый живописный кусок открылся перед городом Юрюзанью.

— Делали холодильники, — лаконично сказал Саня. — Закрылись — вытеснили их с рынка: неконкурентоспособны.

Пересекли речку Юрюзань и остановились. Саня и Калуга полезли в двигатель. Подошел поглазеть на машину мальчишка лет восьми.

Похвалился:

— А вот там у нас, — он махнул рукой на север, — есть река Ай. А там, — он махнул на юг, — река Уй.

Это уж ни в какие ворота не лезло. Женя мальчишке не поверила, но виду не показала.

Покатили дальше.

На берегу реки Сельги стояла телега, рядом качался на тонких ножках желтый жеребенок. Мелькнула за окнами река Куваши.

Березы по сторонам дороги были высокие и опять на удивление тонкие. Они напоминали саму Женю Осинкину — если бы кто-то переводил взгляд с тех березок на нее и обратно. Но несколько из них согнулись от ветра в полупоклоне.

— Слышь, Калуга, а не у нас на хвосте этот джип висит? — сказал вдруг Саня.

— Да я на него уж целый час смотрю, — медленно ответил Леша.

Жене стало вдруг муторно — в точности как тогда, когда она подобрала из-под ног в грязном переходе свою фотокарточку. За последние сутки она начисто забыла об этом еще совсем не разгаданном и явно не сулящем ей ничего хорошего московском событии.

— Щас увидим.

Свернув налево, они по крутому спуску въехали в город Златоуст. А черный джип с тонированными стеклами промчался дальше. И Женя сразу успокоилась.

Златоуст, где она должна была встретиться с Ваней Грязновым, основался, как написано при въезде в него, еще раньше, чем неведомый Усть-Катав, — в 1754 году. Здесь на-

чиналась русская металлургия. Но теперь мало что напоминало об этом. Теперь здесь больше всего занимались теми камнями, которыми славился Урал, и не более чем через полчаса Жене предстояло увидеть результаты этих занятий.

Улица Ленина, по которой они въезжали в город, состояла целиком из одноэтажных, вросших в землю домиков. Женя уже представляла себе по рассказам деда, как жили люди в России до Ленина. И ей понятно было, почему теперь такая захудалая улица, где живут бедные люди, носит его имя. Только один дом в конце улицы был каменным. Его отреставрировали, и теперь он гордился своей бело-красной нарядностью.

На главной площади стоял чугунный генерал Аносов, держал за два конца упруго выгнувшуюся саблю. Ведь именно Аносов, генерал, химик и металлург, открыл секрет знаменитой дамасской стали. Из этой стали ковали такие сабли, которыми разрубали подброшенные вверх шелковые платки! Сабли могли сгибаться как угодно — но не ломались.

Про Аносова Жене рассказал как бы сквозь зубы странного вида парень: два

очень узких передних зуба росли у него косо и доставали до самых нижних десен, заходя страшным образом, как у злого сказочного героя, за нижние зубы. «Так что ж тут, зубных врачей, что ли, нет?» — думала в некоторой растерянности Женя.

— Где у вас тут улица не с новостройками, а со старыми еще домами?

— Желтые дома? Это Карла Маркса.

Жутко ободранный кинотеатр с колоннами встретил их на подходе к улице Карла Маркса, на которой и правда стояли очень высокие дома. В Москве такие называли «сталинскими», а в Златоусте — *желтыми* домами. Они действительно все были желтого цвета и с очень большими карнизами, нависавшими над верхними этажами — для красоты.

Женя легко отыскала нужный дом и квартиру, но тут ее ожидал неприятный сюрприз. Женщина, открывшая дверь, взглянула недружелюбно и на вопрос, можно ли видеть Ваню, коротко ответила:

— Уехал.

— Как уехал? Куда?

— Не знаю. Ему четырнадцать лет, у него паспорт есть, он сам за себя отвечает.



Тут мимо женщины протиснулся толстый мальчишка лет восьми, вылез на площадку со словами «Мам, я гулять пошел» и, отчаянно подмигивая Жене, быстро побежал по лестнице вниз.

— Ну тогда извините, — сказала Женя и устремилась за ним.

Во дворе мальчишка спросил ее:

— Ты Осинкина?

— Да.

Он полез за пазуху и протянул ей конверт.

Ваня Грязнов в нескольких строчках объяснял Жене, где они встретятся.

— Поехали, — сказала Женя, садясь в машину.

Она уже привыкала понемножку к роли командующего операцией.

Через пятнадцать минут машина остановилась.

— Выходи, Женя, мы тебя сфотографируем, — сказал Леша.

Она вылезла и увидела высокую каменную плиту, из которой выходил столб, состоявший из трех стержней. На нем была укреплена большая планка, вроде вывески, с надписью — «Европа». Это же слово было на каменной плите, а под ним почти такими же крупными буквами два слова — «Лена Руслан». Других слов на плите не было. По-видимому, неизвестная Лена неожиданно поняла, стоя у этой плиты, что ее место в мире не меньше, чем у Европы.

Леша сфотографировал Женю у столба и попросил обойти его.

На другой стороне столба была надпись — «Азия». И под ним опять-таки одно слово — «Танька».

Получилось, что Женя снялась сначала в Европе, а потом — в Азии. Это было здорово!

Подъехала шумная свадьба на четырех машинах, и невеста в фате старалась встать так, чтобы сфотографироваться на фоне «Азии», а не «Таньки».

Тут же, у столба — и в Европе, и в Азии, — продавались очень красивые изделия из камней, добываемых прямо из Уральских гор и — с большим ущербом для здоровья от

каменной пыли — обтачиваемых местными мастерами. Больше всего — из темно-темно-зеленого змеевика и светло-зеленого серпентинита. Жене легко давались иностранные языки. Поэтому она сразу поняла, что название-то — одно и то же, поскольку и по-английски, и по-французски *змея* пишется одинаково — *serpent*, — только произносится совсем по-разному. А если прочесть просто по буквам, как пишется, то и получится *серпент-инит*.

Стояли шкатулки разных оттенков зеленого цвета, одни — с медными изогнувшимися маленькими ящерицами на крышке, на других же крышках была либо золотая осень, либо светло-зеленые с голубым летние пейзажи. Это все было сделано, как ей охотно объяснили, из крошки настоящих полудрагоценных уральских камней, безо всякой краски. Были идеально обточенные светло-зеленые — из серпентинита с причудливыми, как змеи, прожилками, — пасхальные яйца на подставочках, и темно-зеленые стаканы для карандашей, и вазы для цветов. Но больше всего Жене понравилась единственная вазочка, совсем похожая на те, кото-

рые видела она в Музее изобразительных искусств в античных залах, — из красно-белого мрамора. Оказывается, добывался он только здесь и больше нигде. Женя видела его на стенах каких-то станций московского метро. Она не удержалась и, хотя Саня сказал ей лаконично: «На обратном пути!» — купила эту вазочку в подарок своему папе, страстному поклоннику античности. Это было очень недорого — и из ее собственных денег, то есть оставленных ей мамой на еду. И Женя утешила себя тем, что по дороге, вдали от «Макдональдса» и кинотеатров, уже сильно сэкономила.

Когда Саня вырулил от столба на трассу, Леша крепко взял его за правый локоть:

— Гляди!

На большой скорости их обогнал тот самый черный джип.

Обстановка постепенно становилась нештатной.





ГЛАВА 13

СКИН

За двое суток до этого, через два часа после того, как Женя побывала у Фурсика, Денис Скоробогатов шел по Тверской.

С некоторых пор он ходил с неприятным чувством по улице, которую любил с детства, а в последние годы считал чем-то вроде своего законного владения и выходил на нее в таком примерно настроении, в каком русский помещик выезжал когда-то на охоту в поля, со сворой борзых.

Сейчас Денис шел, и ему чудились груды битого стекла, горящие машины, пьяные крики. Странно, но тогда, в иконе, он от души бил эти стекла вместе с пацанами, и хрустальный звон оседающих огромных витрин слушал как музыку. И машины пинал и раскачивал с радостью и даже наслаждением.

Куда делось это чувство? Когда оно сменилось каким-то другим, напоминающим противный вкус во рту наутро после пьянки?

Может быть, тогда, когда он увидел, как кровь струей течет по Дашкиной нежной щеке? И на щеке — широкий порез, от которого — он как-то понял это в одну секунду — обязательно останется шрам. Невозможно было остановить кровь, он стягивал лицо Дашки своим красно-белым шарфом.

Или когда спустя неделю узнал, что сожгли машину у знакомого парня-«афганца», а он, контуженный, с двумя маленькими детьми, зарабатывал на нее три года? Теперь дети все лето будут в городе — не на чем возить их с дачи на процедуры: дети у него были нездоровые. «Афганец», сжимая челюсти, говорил, что будь он тогда у машины со своим калашом — пустил бы очередь от жи-

вота и «эти ... протрезвели бы уже на том свете, с выпущенными кишками».

...Только в тот момент, когда Денис трясущимися руками старался остановить кровь на Дашкиной щеке, а она плакала и кричала, прямо вопила, он вдруг увидел, что вся Тверская заблевана и залита мочой. А ведь только что орал и ничего такого не видел. Сегодня, спустя полтора месяца, он шел по той же давно мытой-перемытой улице и снова — вот дела! — чувствовал запах рвоты и мочи.

Он шел, и ему стискивало голову как обручем — не от размышлений, потому что размышлять Денис не очень-то умел, точнее, не знал, как это делать, — а от какой-то безнадеги.

В голове прыгали только те короткие, похожие на слоганы мысли, к которым он привык: «Нас унижают», «Азеры пусть убираются к себе», «Москву надо закрыть», «Негры пусть едут в Африку», «Россия — для русских, Москва — для москвичей!», «Раньше нас все боялись! А щас едут все кому не лень и живут по своим законам!» Он был уверен в этих слоганах. Но теперь они почему-то его не успокаивали — и в то же время и не бередили, не зажигали.

И вообще — исчезло куда-то все, что его зажигало. Он любил Шнура — и разве что его песни еще как-то действовали:

*Новые районы, дома как городки,
Хочешь жить — набивай кулаки!*

Но даже и набивать кулаки до мозолей на костяшках тоже надоело.

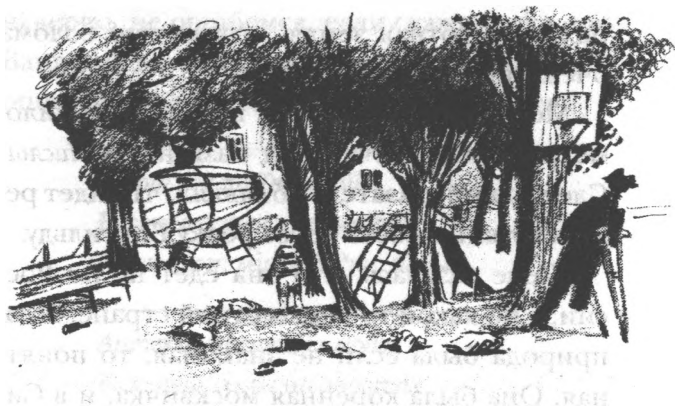
Раньше, например, Денис испытывал необъяснимый восторг, рисуя свастики на стенах и асфальте, — теперь ему совсем не хотелось этого делать. Лень, что ли, стало? Он сам не знал.

Денис был уверен, что он и его друзья правы. Но не мог понять, почему же ему так... он сказал бы дерьмово, а мы употребим, пожалуй, синоним — мерзко. Вдруг ему начинало казаться, что герой — не он и не его друзья, а тот фотокорреспондент, который отбил омоновца у толпы, не дал его убить. Ведь не дать кого-то убить — это действительно круто!

Денис шел к Фурсику — тот позвонил ему и сказал коротко: «Срочное дело».

Через час Денис, которого, впрочем, так звала только мама (когда была трезвая и хо-

тя бы узнавала сына), а вся компания Жени Осинкиной давно звала Скином (он не протестовал), вышел от Фурсика и направился напрямиком в железнодорожные кассы.



ГЛАВА 14

ЧЕЛЯБИНСК

«Волга» мчалась по Азии так же уверенно, как по Европе.

Миновали реку со странным названием *Коелг* (может быть, *Коелга*, только «а» отвалилось?)

Золотистыми горками лежала на полях солома — из-под комбайна, после прямого обмолота. Женя узнала от своих спутников, что солому обязательно надо убирать с поля (ее потом вообще сжигают) — чтоб не засо-

рялась пахотная земля, потому что солома очень долго перегнивает.

Мелькнул указатель — влево, в 19 километрах, было нечто под названием *Мисяш*. Следующий указатель объявлял, что идет реконструкция моста через речку Биргильду.

Жене казалось, что она едет не по России, а по какой-то неизвестной стране, хотя природа была если не знакомая, то понятная. Она была коренная москвичка, и в Сибирь въезжала впервые.

Впрочем, она не была еще даже в Петербурге (и мечтала побывать), хотя не только много про него читала, но часто слышала. Во-первых, от мамы — та тоже была коренной москвичкой, очень любила Москву, но говорила:

— Как только я выхожу из поезда на Московском вокзале и оказываюсь на Невском проспекте, я чувствую, что я — из деревни!

Во-вторых, от Вани Бессонова. Он родился в Петербурге, жил в детстве недалеко от улицы Зодчего Росси, нередко гулял с мамой или няней в Летнем саду, и строки «Евгения Онегина»: «Слегка за шалости бранил, / И в Летний сад гулять водил» — звучали для него иначе, чем для Жени. Но, впрочем, мы,

наверно, не ошибемся, если скажем, что для Вани они звучали точно так, как для Жени — описание въезда Тани Лариной в Москву:

*...Вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы
.....
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.*

Конечно, на Тверской давно не было ни возков, ни ухабов, а на крестах больше ворон, чем галок, но уж про львов на воротах Жене с раннего детства было известно от папы: вот заверни налево за угол от любимого Женей «Макдональдса» на Пушкинской площади и пройди несколько домов — увидишь этих львов на воротах (с ударением — по Пушкину — на последнем слоге!) Английского клуба, куда так любил ездить Пушкин, когда бывал в Москве.

Правда, в этом доме давно музей, который теперь называется Музей современной истории России, а при советской власти (Жене

было два года, когда она кончилась) назывался как-то по-другому, но невысокое здание красно-терракотового цвета с белой отделкой по-прежнему красиво, и легко представить, как карета с Пушкиным или с Татьяной Лариной заворачивает в ворота...

В Челябинске пришлось задержаться на полдня — заменять *сальник*. Он давно *полетел*, и вытекало и масло, и неведомый *Жене тосол*: это магическое слово то и дело говорили друг другу Саня и Леша. Они оба слышали, как все явственней скрежещут шестерни на заднем мосту. От этого лица их были мрачными. Оба одинаково хорошо знали, что за этим звуком, если его не устранить своевременно, рано или поздно следует замена всего заднего моста, а это ни в их планы, ни в бюджет генерал-лейтенанта Шуста не вписывалось. Сальника же не было ни в попутных шиномонтажах, ни в магазинах.

Надо было решать и еще кое-какие назревшие в дороге проблемы: не забудем, что ехали они на «Волге», а не на иномарке. Машина неплохая, она могла выдержать серьезную дорожную аварию, в которой от другой машины остается, по словам водителей, «боль-

шая груда покореженной жести». Но она все время, как известно, требует то мелкого, то крупного ремонта. Иномарки бегут себе и бегут. Зато уж если встанут — то, прямо скажем, неизвестно, что делать водителю и пассажирам на наших необъятных просторах.

В огромном автомобильном дворе (так он и назывался) повсюду были грязь и хлам в таком количестве, что описывать это почти невозможно. В мрачных помещениях, похожих на ангары, ходили рабочие в грязных промасленных одеждах и чинили подвешенные к потолку на огромных крюках машины. Механики, жуя сигареты и подтягивая исконно русским движением портки на резинке, ходили и ползали вокруг тех машин, что стояли на цементном полу. Но ничего этого Женя не видела, потому что по договоренности с Саней и Лешей пошла погулять по городу — «не дальше этого квартала», как строго попросили ее водители, отвечавшие за Женину безопасность непосредственно перед генерал-лейтенантом.

Прямо во двор тупиком упиралась улица под названием «Ферросплавная». Так как Женя училась на пятерки по всем предме-

там, она легко поняла, что это от слова «феррум» — железо. Но пыльная и скучная улица не стала от этого веселее.

На угловом доме красовалось выцветшее объявление «Клуб юных техников ЧЗМК. Ферросплавная, 144». Ну, ЧЗМК, поднапрягшись, расшифровать было можно — *Челябинский завод...* ну, наверно, раз уж *феррум*, — каких-нибудь *металлоконструкций...* Но почему-то Жене трудно было себе представить, что на этой улице действительно есть такой клуб или даже когда-либо был.

Но она ошибалась! Такой клуб и правда был, совсем рядом, в большом желтом двухэтажном доме, и в цехе, открытом прямо во двор, двое парнишек чистили и скребли с ужасным звуком какую-то железяку. Поинтересовавшись у них, давно ли этот клуб работает и не закрывался ли в последние годы (а Женя интересовалась всем, что происходит, — особенно в России и особенно тем, что касалось жизни людей ее возраста), она узнала, что клуб работает с незапамятных времен, никогда не закрывался и что при нем довольно много желающих чему-то научиться, особенно во время каникул.

Женя двинулась дальше по Ферросплавной и зашла в первый же следующий двор — в надежде посидеть где-нибудь в теньке и подумать над тем, что произошло несколько месяцев назад в далекой от Москвы деревне и кто же убийца, если Олег невиновен, как ей, Жене, было известно с начала следствия, а после показаний Лики станет известно и судьям.

Двор с двух сторон обнимали желтые трехэтажные дома — углами. Здесь росли десятка три старых и очень тенистых деревьев. Этот двор был просто приготовлен для того, чтобы стать уютным, прямо-таки райским уголком — и для детей, и для взрослых. Но каким же он был!..

Вокруг маленького, расчерченного красно-белыми квадратами, покосившегося металлического столика на одной ножке и двух скамеек с узкими брусками для сиденья (половину брусков оторвали, и потому это скорее были насесты для кур, чем скамейки для людей), земля была вытоптана и загажена на два-три метра вокруг сигаретными пачками и бутылками. О том, чтобы присесть к такому столику, и подумать было нельзя.

Впрочем, и весь двор был вытоптан так, что ничего, кроме пыли, на нем, казалось, появиться уже не может. Посреди него на стояке криво висели только одни качели, от двух других остались лишь крюки. Горка — для скатывания с нее и зимой, и летом, шведская стенка, карусель... Но все кособокое, облупленное, такое, что и не тянет подойти. А главное — ни травинки, ни цветочка, не то что клумбы, которые прямо просились в этот двор!..

Вышла голенастая очень молодая девица, в кожаной юбочке, едва-едва прикрывавшей те места, которые должна прикрывать юбочка, с блестящей черной сумочкой через плечо; повела куда-то со двора своего крохотного ребенка. И правда — он же у самой земли — не дышать же ему здесь этой желтой пылью!.. И Женя почему-то ясно представила, как изумленно распахнулись бы глаза с тщательно накрашенными ресницами у этой девицы-дамочки, если бы она услышала вдруг обращенный к ней несусветный вопрос:

— Скажите, а почему вы свой двор не обходите так, чтобы вашему ребенку было где погулять?

У подъезда три девочки семи-восемью лет хлопотливо развешивали какую-то тряпочку на остатках деревянной оградки, огораживавшей давно не существующий палисадник. Верная себе, Женя подошла к ним, чтобы прояснить ситуацию до конца.

— Здравствуйте, девочки! Скажите, а вы в какой класс перешли?

— Я в первый пойду, а Кристина во второй, и Саша во второй...

— А вашего возраста девочек — ну, с кем вы играете — во дворе много?

Кристина из второго класса стала перечислять, поглядывая то на свой дом, то на тот, что углом окаймлял двор с другой стороны:

— Катя, Полина, Женя, Эльвира...

— У них же у всех, наверное, родители есть? — подбиралась Женя к своей теме.

— У Эльвиры нет.

— А куда они делись?

— У нее мама повешалась. Только тетка есть.

Женя помолчала немного, пытаясь представить себе жизнь неведомой ей Эльвиры после того, как мама ее повешалась, коротко вздохнула и продолжила:

— Но вот у вас-то есть родители, и у других девочек? Ведь в вашем дворе вам играть негде, и цветов совсем нет. Вы бы сказали родителям — пусть устроят один субботник. Все бы вышли и за один день убрали двор, все вскопали и посадили. И не было бы пыли этой!

Девочки вздохнули. И перебивая друг друга, заговорили:

— Не-а, все не выйдут.

— Скажут: «Еще чего! Некогда мне!»

— Скажут: «Да кому это надо!»

Эти девочки уже очень хорошо знали своих родителей.

Жаркий летний день длился в пыльной тишине двора. Пересек его человек в очках, на двух костылях, с одной ногой, а вместо другой была подвернута под ремень брючина. В Москве таких Женя видела только в переходах метро.

Двор начинал понемногу жить. Прошаркал через весь двор еще один инвалид, с двумя ногами, но сильно опираясь на палку.

Прошла девочка — ровесница Жени с красивой голой спиной и заметной грудью, прикрытой полумаечкой, села за столик среди

всей этой грязи с двумя пацанами меньше ее, хотя наверняка того же возраста. Подошел один постарше и повыше, никогда не мытый. Мило пощebetала с ним девица и упорхнула, юнцы — за ней.

...Нет, но какая же тишина, редкая гостья на нашей земле, царила в этом дворе! Полная летняя тишина, будто и впрямь все разъехались по дачам, в прохладных комнатах за большими, совсем не подслеповатыми, чистыми окнами никого не было, и девочки, гулявшие во дворе, остались одни в доме. Только иногда прошуршит, въезжая, машина — то иномарка, то наша, довольно заезженная. Высунутся из оконца не отличающиеся друг от друга хозяева, что-то крикнут сидящим на бетонных боковинах крыльца и отбудут с миром. А люди на крыльце сидят и сидят, переговариваясь вполголоса, словно они в парке, среди чудных английских роз. Кто бы во всем мире, кроме, возможно, индийцев, будто бы, по рассказам очевидцев, всегда погруженных в свой духовный мир и не замечающих мира внешнего, стал жить в таком грязном дворике и лениво сидеть, отчужденно поглядывая на него, на

крыльце?.. Никто бы не смог — силы воли бы не хватило.

Прошел по двору быстрой походкой мальчик лет пятнадцати, с едва обозначившимися темными усиками, с рюкзачком и свежекупленной газетой. Так явно было, что он ходил по своим делам, а теперь возвращается к своему дому, в свою комнату — по ничейной земле, которую надо скорее пересечь. Глаза его даже не замечали этого двора, по которому он ходил с того времени, как выучился ходить. Впрочем, когда он был маленький — очень даже замечали. И может, тогда ему смутно хотелось, чтобы была травка, цветочки. А потом двор перестал его интересовать.

Женя даже не стала его останавливать — она знала, что здесь, то есть с людьми ее поколения (хотя она и не думала таким именно словом — поколение, но суть от этого не меняется) одним разговором ничего не сделаешь. Здесь нужно было, чтобы несколько человек, которым интересно друг с другом, решили все вместе жить по-другому.

А к немолодому, однако явно еще полному сил мужчине, вылезшему из потрепанных, но

бойко влетевших во двор (как будто ни в коем случае не может выбежать неожиданно — прямо под колеса — ребенок) «Жигулей», она все же подошла. Быстрый, с лоснящимся от жары и энергии лицом, он энергично захлопнул дверцу и ринулся было к своему подъезду, когда Женя его перехватила:

— Извините, пожалуйста, вы в этом доме живете?

— В этом.

— Извините, я у вас тут по дороге оказалась... Я живу в Москве. Посмотрите, пожалуйста, какой у вас ужасный двор. Почему вы его в порядок не приведете? Ведь у вас тут много детей...

Мужчина не стал ей грубить, а охотно взмахнул рукой в сторону заплывающего уголка — столика со скамейками.

— Да сколько раз говорили участковому!.. Он говорит, что прогонит, а они на другой вечер опять пьют!

— Но ведь если бы вы весь двор за один день привели в порядок — может, они и не стали бы его захламлять?

— В порядок? А ЖЭКу-то мы платим? Платим. Зачем же я чужую работу буду делать?

— Но ведь у вас же нет другого выбора, — сказала вдруг Женя другим, твердым голосом, и мужчина на секунду оторопел, — или вы не делаете за них действительно их, я с вами согласна, работу, и ваши дети ползают по этому загаженному двору, — или вы плюнете на ваш ЖЭК и сделаете, наконец, себе сами нормальный дворик!

Дядька склонился над своей машиной, что-то взял с сиденья и заспешил к подъезду.

Тут и Женя вспомнила, что и ей давно пора спешить, и сломя голову помчалась к Сане и Леше.



ГЛАВА 15

ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Когда они уже покидали Урал, на одном крутом повороте, после знака предупреждения об опасном участке дороги, черный джип на бешеной скорости подрезал их так, что они неминуемо должны были не просто скатиться в глубокий кювет, но еще и перевернуться, если бы не Лешино виртуозное вождение.

На той же бешеной скорости джип ушел на перекрестке влево и мгновенно скрылся

из глаз. Жене становилось все более ясно, что идет охота за ней, хотя и не последовательная, а наскоками. Возможно, решительный вид водителей сдерживал ее неведомого врага. Она не знала, делиться ли с Саней и Лешей своими мыслями, рассказывать ли про фотографию на грязном каменном полу. А они молчали, смотрели мрачно вперед и по сторонам и ее, конечно, ни о чем не спрашивали.

После Копейска дорога пошла уже ровная, без понижений и холмов. Это и была та самая Западно-Сибирская низменность из учебников географии.

Сидя за спиной Сани, Жене было приятно следить из-за его плеча, как он хищно прицеливается, медлит, затем идет на обгон — и вдруг, мгновенно и точно оценив скорость своей машины и очень далекой, казалось Жене, встречной, резко подает вбок вправо, возвращаясь в хвост дальнобойщику, которого начинал было обгонять. Из этих расчетливых рывков — попытка обгона, отступление и в конце концов обгон — состояла езда. Она отнюдь не была монотонным движением по прямой.

На дороге шла своя жизнь, по своим законам — и человеческая жизнь была выставлена на каждом ветровом стекле невидимым, но каждому, кто за рулем, очень хорошо известным ценником.

Здесь стояла невысокой, но плотной стеной давно созревшая пшеница, и Саня с Лешей, зорко поглядывая по сторонам, обменивались недоуменными репликами:

— А чего хлеб-то не убирают? Что случилось-то, не пойму?

Въехали в Щучье и после короткого совещания («Калуга, тормозим? — Да надо бы») остановились ненадолго у станции техобслуживания. Предстояло вскоре сворачивать с ухоженной трассы на проселочные дороги, где можно ждать всего, и надо было быть уверенным в машине.

Женя вылезла на волю и скорей поставила ногу как можно выше на ближайшее дерево. Трудно было поверить, что это — город, а не заброшенная, покинутая жителями деревня. Они стояли, судя по табличке, на улице Победы.

Непонятно было, чья же *победа* запечатлелась в названии.

Домишки-развалюхи ничем не напоминали дома победителей. Черные бревна избушки с голубыми ставенками казались еще крепкими. Но почерневшие доски, которыми были забиты давно не нужные ворота, выглядели ужасно. Все вокруг заросло бурьяном; узкая тропка вела через него к калитке.

Автобусная остановка, искореженная, заржавленная и закиданная мусором, явно была давно не действующей и превратилась постепенно в общественную помойку. Но вот к ней подошла красивая голубоглазая женщина с двумя мальчишками, и через две минуты подъехал автобус, как ни в чем не бывало остановился у этого пострамища, как бы выразилась Женина бабушка, забрал всех троих пассажиров и двинулся дальше. Женя медленно пошла по улице, поглядывая вокруг. Солнце стояло высоко. Из домов никто не выходил — не входил. Полуденная тишина была не благостная, умиротворяющая, а какая-то обморочная. Идя по этому городку, нельзя было вообразить себе, что где-то в других местах России кипит жизнь.

Появились Саня и Леша с довольными лицами, забрались в машину. Женя набрала по мобильному Москву.

Фурсик был, как всегда, деловит и лаконичен:

— Скин выехал позавчера. Том близко от места, надеется тебя встретить. Иван Бессонов тоже на подходе.

Про Ваню-опера Женя сама знала из его записки. Друзья подтягивались к месту сбора.

«Волга» тяжело вывернула с улицы Победы и двинулась на проселок.

Выехали за Щучье и увидели указатель — «Оглухино 43 км».

Они приближались к тому месту, где полгода назад оборвалась жизнь одного человека и круто переломилась жизнь другого.



ГЛАВА 16

«ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ...»

Как всегда, Федя проводил Веру до ее плетня. И теперь, как обычно, ему неохота было уходить. Он стоял, ковыряя носком сапога снег (валенки он снял еще на прошлой неделе – март шел сырой) и комкая в левой руке снежок. Снежок таял, но одновременно уплотнялся. Если запульнуть как следует, им можно легко сбить ворону.

– Я буду президентом России, – сказал Федя. – А ты – женой президента.

Верка посчитала еще раз (Федя не первый раз это говорил, и она каждый раз старательно считала). Сейчас ему двенадцать. Нужно, чтобы прошло 23 года. Это будет 2025 год.

Ей надо много выучить за эти годы. И особенно все хорошо знать про Россию. Ведь она будет женой российского президента.

Федя наконец прощально тронул Верку за толстое ватное плечо, повернулся и пошел, посвистывая. Свернул, как всегда, к реке. Миасс еще не вскрылся, но в нескольких местах лед уже синел. А вот на Алтае, куда он ездит к теткам каждое лето, а иногда и в зимние каникулы, Катунь вообще не замерзает — слишком быстро течет. А Куба, маленький, но бурный ее приток, замерзает только к середине зимы, и все равно остаются промоины, где бурлит несмирившаяся стремнина.

Он стоял у огромной березы, не видный за ней с дороги. И увидел, как по дороге быстрым шагом прошли два мужика. Один был из Заманилова — в Оглухине у него двоюродный братан, он к нему частенько приезжал, а второй — чужой, Федя точно никогда его

не видел. Вообще-то чужие редко когда заворачивали в Оглухино. Только родственники здешних.

Вот сейчас у бабы Груши гостил племянник из Петербурга, Олег, — сам он говорил: «из Питера». Федин отец, правда, говорил только — «Ленинград». Но на школьных картах такого города не было, и в учебниках истории рассказывалось, как Петр I выстроил Петербург. И при Петре I, и на Федькином коротком еще веку никакого Ленинграда не было, хотя он слышал, конечно, про *Ленинградскую блокаду*.

И только Федя вспомнил про этого племянника-студента, как в тот самый момент («Ей-богу, не вру!» — рассказывал он впоследствии закадычному другу) услышал его голос. Олег шел медленно по той же дороге, по которой пять минут назад быстрым шагом прошли двое неизвестных. Шел он не один, а с Ликой. Это тоже была, кстати, приезжая — из Москвы. Симпатичная, белокурая, но не крашенная — Федя в этом уже отлично разобрался. Она первый раз приехала сюда — к бабке, та жила на Интернациональной.

Ну, Федя так и знал! Остановились и начали целоваться. Теперь домой к футболу не попадешь (а начинался, между прочим, российский чемпионат) — неудобно же взять и выйти из-за березы, как в кино. Это годится, если только сразу начать стрелять, подумал он весело. И его стал разбирать смех, как только он представил себе эту картинку.

Они проморозили его чуть не десять минут. Неужели интересно так долго целоваться? Потом быстро пошли — но не туда, куда пошли чужие, а в противоположную сторону, к станции. А Федя припустил домой. Забежать по делу к закадычному приятелю Мячику, как планировалось, он уже не успевал.

По телеку играли гимн, и дома уже шла про него дискуссия — между отцом и дедом — не первый раз и вряд ли последний.

Дед говорил:

— Я никогда не встану под этот гимн. А я хотел бы иметь такую возможность, потому что люблю и уважаю свою страну. И меня лишили этой возможности.

— Получается оскорбление гимна, — меланхолично заметил Федькин отец.

— Оскорбление гимна? Это меня им оскорбили. И всех, кто не забыл, кто такой Сталин. Сталинский гимн не может быть гимном свободной России, это — абсурд. А ваши футболисты? Их не устраивала, видите ли, музыка великого Глинки, потому что, видите ли, «мы хотим шевелить губами» за честь страны! Ну и написали бы слова под Глинку, и шевелили бы на здоровье! Кто бы мне сказал — многие ли из них сегодня знают наизусть перелицованные бесстыжим стариком третий раз слова?!

— Ну, батя... — примиряюще протянул отец.

Дед только больше раззадорился.

— Что — «батя»? Это ж действительно надо всякий стыд потерять! И детей не постеснялись... К каждой новой власти одни и те же слова присобачивать! К Сталину, к Хрущеву, теперь — известно к кому! Каким циником надо быть, чтоб до такого додуматься! Их потому и выучить невозможно — холодными ж руками смастачено!

Федя уже не слушал, он погрузился в игру. Отец присоединился к нему. Его тоже игра интересовала, ясное дело, больше гимна.

Стоит упомянуть, что на другой день вечером, в лесу, Федя увидел еще одного чужого — в зимнем спортивном костюме, вроде горнолыжного, и с импортным не то чемоданом, не то большой плоской сумкой. Он шел вроде от дома бабы Груши. Федьку он не заметил. Сам же Федор долго потом удивлялся — никогда такого не было, чтобы два чужих мужика в один день забрели в Оглухино, будто тут какая туристская точка. Ничего такого достопримечательного, что могло притягивать городских, в Оглухине не было, хотя Федору его деревня очень даже нравилась.

А Олег встретил Лику случайно. Встретить ее он действительно никак не думал, иначе не остался бы в старой спецовке тети Груши, в которой колот ей напоследок на дворе дрова. Лике же он нес записку, которую хотел оставить в дверях, поскольку знал, что она вернется только часа через два. Записка была такая: «Жду тебя в девять у мостика. Очень важный разговор! Олег».

Он нес записку — и по дороге встретил Лику: она вернулась раньше. Он показал за-

писку, скомкал и положил в карман спецовки, и они посмеялись над его нарядом. И уже не пошли ни к какому мостику, а погуляли по лесу, потом он проводил Лику к дому, зашел к ней (бабка ее гостила — «гостевала», как говорили местные, — у кумы в соседней деревне) и поздно вернулся домой: тетя Груша уже спала и Анжелика, как он думал, тоже.

Говорят, что в деревне все друг у друга на виду. Но это летом, при длинном световом дне. А зимой — только в деревне можно вечером войти с девушкой в дом никем решительно не замеченным, и так же незаметно выйти из дома среди ночи.

Никто не видел, как Олег вышел из дома Лики. Но зато его ночное возвращение домой соседями, как выяснилось позже, замечено было.

Он собрал вещи и, почти не спавши, в пять утра ушел на автобус — к поезду. Олег возвращался в Петербург — торопился на занятия, с которых отпросился на неделю. Вот почему ему важно было поговорить с Ликой в этот вечер — договориться, когда он приедет к ней в Москву.

А через два дня в Петербурге за ним пришли в общежитие с постановлением об аресте, заковали в наручники и повезли обратно в Курганскую область — на следствие по обвинению в убийстве молодой девушки.





ГЛАВА 17

АНЖЕЛИКА

Олег был родным племянником тети Груши, сыном ее единственной сестры, которая жила в Тюкалинске. Из Петербурга он прилетел в Омск, оттуда проехал на полтора дня к матери, а уже из Тюкалинска на попутках больше суток добирался в обратную сторону — через Абатское, Заводоуковск, Ялуторовск, Исетское — до Оглухина: тетя Груша сильно болела и просила приехать.

Изба ее была пятистенка, с двумя входами и еще одним общим — через кухню. В одной из половин и родился восемнадцать лет назад Олег. Потом мать переехала к Олегову отцу в Тюкалинск, а свою половину отдала сестре; потом отец умер.

Эту половину материна сестра одно время сдавала приезжим специалистам, а в другой жила с Анжеликой — племянницей ее тоже давно умершего мужа. Последние годы специалисты в Оглухино ездить перестали, и половина дома пустовала.

Семнадцатилетняя Анжелика, кончавшая в этом году одиннадцатый класс, была сирота. Они с тетей Грушей жили, что называется, очень стесненно. Только в последние два года у девушки вдруг появились два красивых платья, сразу отмеченных деревенскими модницами, потом сапоги и наконец настоящая беличья шубка. Сама же Анжелика повеселела. Было видно, что в ее грустной в общем-то жизни что-то изменилось к лучшему.

В эту зиму тетка разболелась всерьез. Вызвав в марте племянника, она объявила ему и Анжелике, что завещает обоим по половине дома: «Твоя половина так и так мате-

рина», — сказала она Олегу, хоть мать его никогда этого не обсуждала — видно, и так знала, что сестра, с которой они всегда ладили, поступит по совести.

И тут же деревня Олега с Анжеликой поженила. Олег этого и не заметил, а у негданной невесты от этих разговоров замирало сердце — в Олега, которого она не видела с семи лет, Анжелика влюбилась с первого дня. Он же относился к ней как к сестренке.

В тот вечер Анжелика ушла около девяти и домой не вернулась. Тетя Груша хватилась ее утром. Выбралась за калитку с трясущимися губами, ясно почуяв недоброе, подняла народ на поиски. Говорила, что ночью кто-то лазил по чердаку, но ей было плохо, она только покричала — мол, кто это? Никто не отозвался, и она подумала, что это Олег ищет там что-нибудь перед отъездом.

К утру следующего дня Анжелику нашли недалеко от мостика, под снегом, — задушенную и еще с какими-то жестокими метами на теле, о которых говорили шепотом.

Милиция нашла на ее столе записку красным карандашом: «Жду тебя в девять

вечера у мостика. Очень важный разговор! Олег». Почему-то записка была написана на газете. По почерку легко установили, что это рука именно Олега. Дело прояснялось — вызвал к мостику и задушил. Тем более нашлись свидетели из двух соседних домов, которые показали, что Олег вернулся домой поздно ночью, почти под утро. Понятно — задушил, потом долго закапывал в снег.

При понятых на его половине дома извлекли из укромного места Анжеликино дорогое бирюзовое ожерелье. И вещественные доказательства, и мотивы Олега (получить весь дом, а не половину — других наследников у тети Груши не имелось) были налицо. Не совсем, правда, понятно, зачем ожерелье спрятал, а не забрал с собой, но одно объяснение, во всяком случае, наметилось — сразу продать не надеялся и боялся воров в петербургском общежитии.

После этого Олега оставалось только задержать, этапировать на место преступления и предъявить обвинение. Тетя Груша его прибытия в наручниках не дождалась: скончалась «от сердца».

Дом заколотили.

Лица — единственная, кто мог подтвердить алиби Олега, — уехала в Москву на другой день после страшной находки: испугалась появления своего имени рядом с обвиняемым в страшном преступлении. Тем более она должна была скоро получить очень серьезный грант на изучение правовых представлений молодежи в современной России.

Милиция выколотила из Олега признание, используя среди прочего «слоник» — противогаз с зажатым шлангом, в котором человек сразу начинает задыхаться и готов взять на себя все, что дадут. Адвокат впервые увидел его на третий день — с разбитым лицом, остановившимся взглядом. От медицинского обследования обвиняемый отказался — сказал, что его тогда переведут в другую камеру, а там убьют или сделают такое, после чего он сам не захочет жить.

Когда адвокат стал смотреть дело, там было много несуразного. Дом стали обследовать только наутро после того, как нашли тело, — то есть через полтора суток после убийства. Вокруг дома снег оказался истоптан — было много следов, оставленных

в ночь убийства и даже на другой день. Ими заниматься никто не стал — записка, найденная в доме, оказалась главным и достаточным вещественным доказательством.

Вся деревня кипела праведным гневом. Возмущались, что теперь не применяют «вышки» — *вышей меры наказания*, то есть смертной казни. (Хотя заметим: как это *растрел* человека может быть его же *наказанием* — не совсем понятно; для *наказания* все-таки нужно, чтобы тот, кого наказывают, продолжал жить и знал, что он несет наказание.) Сиротку Анжелику в деревне жалели и любили. Жестокие подробности убийства всех потрясли.

Под влиянием народного гнева суд состоялся быстро — через два месяца.

Он проходил с участием присяжных заседателей, что было в тех местах в диковину. Зал, битком набитый людьми (в Курган приехало полдеревни), в полной тишине выслушал их присягу, прочитанную председателем суда (многие в зале тогда впервые поняли, почему заседатели называются *присяжными*):

Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торже-

ственно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку.

После оглашения этой присяги называли по фамилии каждого заседателя и тот говорил: «Клянусь».

Процедура принятия присяги очень понравилась присутствующим в зале Курганского суда, особенно же — Мячику. Только жалко было, что нельзя поделиться впечатлениями с Федькой. Он решил, что когда станет постарше, обязательно будет проситься в присяжные заседатели, и в тот же вечер перед зеркалом на разный манер раз двадцать произнес: «Клянусь!»

На судебном заседании подсудимый отказался от своих показаний под следствием. Виновность свою в убийстве отрицал. Уверял, что у моста в тот вечер вообще не был. Происхождение записки, найденной у Анжелики, объяснить не мог: уверял, что он ей

никакой записки не писал. На вопрос, может ли кто-либо подтвердить его алиби, ответил, что не знает.

Но одного человека он, конечно, знал — это была Лика. Ее показания могли повернуть ход дела. Олег дал ее адрес и телефон адвокату. Адвокат говорил с ней. Потом он сказал Олегу, что она плакала и выступать на суде отказалась.

После этого Олег не считал себя вправе называть на суде ее имя — даже когда на кону стояла вся его жизнь. Одна девушка погибла, полагал он в том помраченном состоянии, в котором находился все время следствия, из-за него — хотя как это вышло, он понять не мог. Он не хотел теперь спасать свою шкуру, принуждая другую девушку делать то, чего она делать не хотела.

Таков был Олег Сумароков; таким его знали и Женя, и Фурсик, и Скин, и Мячик. И все они были уверены, что суд увидит, что Олег невиновен, и оправдает его.

Мать Олега, рыдая, рассказала Жене по телефону про Лику и про то, что Олег запретил ей уговаривать Лику быть свидетельницей защиты. Мать, в отличие от Жени и ее

друзей, хорошего не ждала, с ужасом чувствуя, что ее сын погибает — без вины.

Олег не знал, что был и второй человек, который мог бы стать свидетелем защиты.

Это был Федя, который видел его с Ликой. И его показания тоже могли повернуть ход дела. Но Федя в самом начале лета уехал к теткам на Алтай и, конечно, напрочь забыл там о том, что видел в оглухинском лесу в марте. А про суд он вообще не знал и не думал, занятый ловлей хариуса в Катунь и мыслями о Верке.

Присяжные признали Олега виновным. На вопрос председательствующего судьи, заслуживает ли обвиняемый, по их мнению, снисхождения, все они — учитель средней школы, пожарный, слесарь-водопроводчик, медсестра, домашняя хозяйка, пенсионер — участник Великой Отечественной и шестеро других — ответили, что нет, не заслуживает. На решение присяжных повлияли еще обнаружившиеся во время допроса свидетелей чувства Анжелики к Олегу. Это ж каким негодяем надо быть!..

Учитывая корыстный интерес убийцы

и особую жестокость убийства, Олега Сумарокова приговорили к пожизненному лишению свободы.

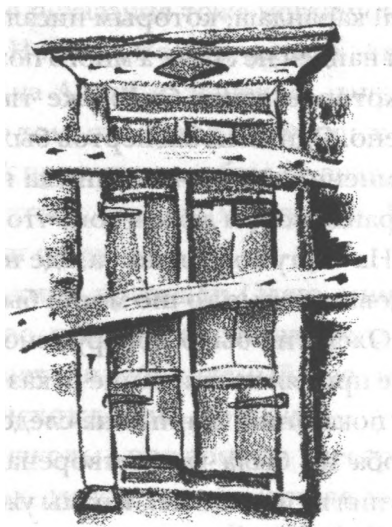
Кассационная жалоба, принесенная адвокатом, обращала внимание суда на детали. Красный карандаш, которым писалась записка, был найден не сразу, а много позже, и на месте, которое ранее было уже тщательно осмотрено. Одним из экспертов было высказано сомнение в том, что записка написана этим карандашом, и даже в том, что — карандашом. На снегу вокруг места, где нашли тело, следов, которые точно могли бы принадлежать Олегу, не было обнаружено. К тому же суд не принял во внимание отказ подсудимого от показаний, данных на следствии.

Жалоба не была удовлетворена. Приговор вступил в силу, и Олег, как мы уже упоминали, был отправлен в Потьму — в исправительную колонию особого режима.

Теперь только Женя могла восстановить алиби Олега — она везла показания Лики. Про Федю она еще ничего не знала.

Но главное — после разговора с Ликой Женя надеялась найти подлинную, именно Лике, а не Анжелике адресованную записку

и понять, как же она соотносится с той, что
представлена была на суде.





ГЛАВА 18

ВИЙ И МЯЧИК

«— Приведите Вия! Ступайте за Виём! — раздалась слова мертвеца...»

— Замолчи, Женька! — заорал вдруг Мячик. Он боялся мертвецов.

«— И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздалась тяжелые шаги, звучащие по церкви; взглянув иско-са...» — новое для нее слово Женя прочитала по слогам.

— Чего? — опять заорал Мячик. — Какая еще коса!

— Молчи, Мяч, по шее получишь!

«...Искоса, — продолжала читать Женя, — увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он был в черной земле. — Тут Женя понизила голос — так, будто она сидела в бочке или под полом, и стала немного подвывать. — Как жи-и-листые, кре-е-епкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки».

— Теперь я! — Юлька выхватила книжку и заныла своим визгливым голоском: — «Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо на нем было железное».

— Железная маска, — прошипел Том.

— «Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий. — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

“Не гляди!” — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на

землю, и тут же вылетел дух из него от страха».

Тут все услышали тяжелый стук тела. Это Мячик повалился навзничь, изображая Хому Бруга.

Все это происходило год назад, когда все они были на Сборе Братства — под началом Олега Сумарокова, там перезнакомились и подружились.

Они были очень разные. Например, компанию Скина никто из них не одобрял. Но к нему самому относились хорошо — верили, что рано или поздно он отойдет от своих дружков. Тем более что Скин хоть и спорил, но все-таки умел слушать. И явно уважал своих новых знакомых, так непохожих на скинов. Кроме того, ему нравился неписанный закон Братства о верности друг другу. Мячик был младше всех. Но он располагал к себе людей, был к тому же умелым гостеприимным хозяином, и его приняли в Братство, невзирая на возраст.

Теперь Олег был в Потьме, а его бывшие подопечные съезжались в Оглухино.

Мячика сосед подбросил на 120 километров навстречу Ване-оперу (без небольших авантюр Мячик вообще не мог существо-

вать), и сейчас они на попутке мчались в Оглухино.

Водитель, черноволосый, молодой с виду парень, правил будто бы лениво, но очень умело. Машина летела, плавно обходя небольшие препятствия. Слушая разговор за спиной о суде над Олегом, он вдруг сказал:

— Я девять лет отсидел.

— А дали сколько?

— Пятнадцать.

— Вот это да! — выкрикнул восторженно Мячик.

— Двойное убийство, — констатировал Ваня-опер (если бы Мячик слышал наш пересказ их беседы, он обязательно бы спросил — «А что такое “констатировать”?» И обязательно ошибся бы и произнес — *константировать*, будто это слово — от имени Константин).

— Расскажи! — занял Мячик.

Водитель покосился в зеркальце на компанию за его спиной.

— Да вы еще маленькие!

Но постепенно рассказал все-таки историю, которая действительно вряд ли предназначалась для детских еще ушей Мячика.

Водителю тогда было девятнадцать лет. Мать у него русская, а отец чеченец, жили в Москве. Родители разошлись, когда ему было два года, он не знал ни слова по-чеченски, чувствовал и считал себя русским. Он ехал из Воронежа в Москву. По дороге остановился поесть, снял прямо на дороге девчонку (Мячик, в отличие от Вани-опера, не очень-то понял, что это значит) и сел с ней в ресторане. За соседним столом пировала компания. Двое из них подошли к нему и сказали:

— Отдай нам свою девчонку, парень, мы тебе заплатим.

— Они видели, — пояснил водитель своим юным пассажирам, — что это не моя девушка, что я просто снял ее. Но я не собирался, конечно, ею торговать, мы с ней хорошо сидели, разговаривали.

Он встал, ответил, что ужинает с девушкой и просит их вернуться к своему столу. Тогда один из них ударил его по лицу. А второй сказал:

— Что, может быть, мало? Мы сейчас поужинаем и добавим.

— Тогда я пошел к машине, — рассказывал водитель, по-прежнему едва касаясь руля, —

взял револьвер, вернулся, подошел к их столу и выстрелил сначала в одного, потом в другого. Обоих — наповал. И не стал убегать, просто милиция забрала меня и все.

— Скажи, — спросил Ваня с мучительным каким-то интересом, — ведь тогда еще *вышка* была. Ты знал, что или *вышка*, или, во всяком случае, сядешь надолго. Ты сомневался все-таки, когда у машины стоял — брать револьвер или нет?

— Нет, совсем не сомневался.

— Ты, наверно, не помнил себя — очень обидно было?

— Нет — прекрасно помнил. Никакого у меня *аффекта* (Ваня это слово, конечно, знал, а Мячик, конечно, нет) не было. Просто я знал, что должен это сделать, что у меня нет другого выхода. Что я не могу этого не сделать, понимаешь? Они сильно оскорбили меня. И при девушке.

Все трое помолчали. Мячик вообще сидел с полуоткрытым ртом. Вид у него был такой, будто он боялся, что водитель сейчас нагнется, достанет из-под сиденья револьвер, обернется да и прошьет насквозь Ваню, а потом его, Мячика.

— А почему только девять отсидел? — спросил Ваня.

А Мячик подумал: «Ничего себе *только!*» Это была почти что вся его жизнь.

— Работал хорошо. Условно-досрочно вышел, — лаконично сказал водитель и замолк до конца дороги.

А Ваня почему-то (трудно восстановить сейчас с точностью все течение их разговора) стал пояснять Мячику про свидетельский иммунитет.

— Это у меня иммунитет — я туберкулезом заболеть не могу, — похвастался понятливый Мячик.

— Да нет, это другое. Ты имеешь право не давать показания против самого себя и своих близких родственников — даже если ты был очевидцем их преступления.

— А если я против своего друга Федьки тоже не захочу давать показания? Если он мне ближе любого родственника? Если я его сдавать ментам не хочу?

— Тебе можно не давать показания только против отца-матери, братьев-сестер, жены — у тебя ее вроде еще нет, детей и внуков — тоже пока не наблюдаю, ну и, конечно, бабуш-

ки и дедушки. А про всех других — если откажешься давать показания или соврешь — ответишь по кодексу.

Ваня-опер был известен среди одноклассников, дворовых приятелей и членов Братства тем, что в любом разговоре, где шла речь об очередной истории с рукоприкладством, в разгар обсуждения главного вопроса — кто прав и стоило ли съездить Мишке по физиономии или надо было ограничиться строгим внушением (но всегда находились те, кто уверяли, что необходимо было добавить), раздавался вдруг спокойный голос Вани:

— Сто двенадцатая, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (поясняя — «Это если в больницу попал и долго в школу не ходил»), из хулиганских побуждений, часть вторая, «д», до пяти лет.

Или:

— Истязание группой лиц по предварительному сговору, сто семнадцатая, часть вторая, «е», от трех до семи. (И опять пояснял — «Это когда Пашку взрослые парни каждый день после школы метелили».)

И горячий спор сменялся обычно минутой задумчивости.

Хотя все это относилось к тем, кому уже минуло 14 лет, но и двенадцатилетние понимали, что их время не за горами.

Уголовный кодекс Российской Федерации, который ни в руках, ни в голове не держали большинство из тех, кто каждый день дрались, задирались и приставали к прохожим на бескрайних просторах России (и ошарашенно взирали потом на мир из-за решетки в зале судебного заседания под всхлипывания и приглушенные — чтоб не вывели из зала — рыдания матерей), Ваня опер знал наизусть — так, как его тезка Ваня Бессонов «Евгения Онегина».

Вскоре все сидели в теплой избе у Мячика и, ожидая прибытия Жени, можно сказать, с минуты на минуту, обсуждали проблемы правосудия вообще, в России — в особенности.

Говорили о преступниках, особенно — о киллерах. Впрочем, стоит упомянуть, что в Братстве еще прошлым летом было принято решение не употреблять в разговоре слово «киллер». Это предложение внесла и обосновала Женя.

— Это слово многим нравится, только они не признаются. «Я — киллер» — красиво зву-

чит и не очень даже понятно. И это, я думаю, тоже — пусть даже самую малость, но подталкивает человека к тому, что он выбирает такую ужасную профессию. Здесь иностранное слово вообще совсем ни к чему. Вот «компьютер», например, — его ничем не заменишь. А вместо «киллер» нужно всегда говорить «наемный убийца». Точно и по-русски. Еще бы лучше — убивец, как в деревнях раньше говорили.

Раз о преступниках — разговор всегда переходил к смертной казни. Скин, не задумываясь, высказался твердо и определенно, как всегда, агрессивно:

— Стрелять их надо!

Это была его любимая присказка.

— А чего их жалеть-то? Они же кого убивают — не жалеют. Они убивают — значит, и их надо убивать.

— Правильно. А людоед — видел по телеку? — вообще людей варил и ел...

— Не говорите гадости! — закричала Нита.

— Так если правда ел! Значит, давай, и мы его сварим?.. По-твоему — так?

— Лучше зажарим! — крикнул Скин.

— И съедем, да?

— А в Уповове одна бабушка живет, — сказала Нита, — говорят, ее сына расстреляли, а через полгода настоящего убийцу поймали. А он у нее один был.

— А раньше по суду четвертовали — отрубали одну руку, потом другую, одну ногу, потом другую — живого человека как бы на четыре части рубили. А потом уже нет, не стали так делать. Пугачева должны были четвертовать...

— Какого Пугачева? — встрял Мячик. — Аллы Пугачевой мужа?

— Ты заткнешься? — спросил Скин.

Но его остановили несколько голосов одновременно. В их компании так разговаривать не было принято.

Заметим под конец, что Мячик был не такой уж Мячик, как это может показаться. Не только в своей деревне, но, пожалуй, и во всем районе он был известен тем, что десяти лет от роду принял роды у своей молодой тетки прямо в лесу под елочкой. Он вел ее в больницу, да не довел — здоровая девятнадцатилетняя молодуха родила по дороге, не успев помучиться.

Когда потом его спрашивали: «Как же это ты, Мячик?..» — он отвечал недовольно: «А че такого? Что я, не видел, что ли, как телются или щенятся?»



ГЛАВА 19

СЕМЬЯ ЗАВОДИЛОВЫХ

Глубокой ночью всего в двадцати пяти километрах от Оглухина Саня и Калуга бились у машины.

Спустило второе колесо. Первое спустило через пять километров после Щучьего. Подняли машину домкратом, колесо быстро поменяли. После короткого совещания возвращаться в Щучье на СТО (где написано было, как они заметили, «Шиномонтаж круглосуточно») за новым колесом не стали:

решили ехать без запаски, исходя из военного опыта — в одно и то же место два раза бомба не попадает.

Опыт мирной жизни оказался иным — колесо прокололось на ровной проселочной дороге, и основательно. Калуга не поленился вернуться на пятьдесят метров назад и принес острую железяку. Молча ее осмотрев, «афганцы» помрачнели. Но Жене ничего не сказали.

Впрочем, она понимала гораздо больше, чем они могли предполагать. В этой головке с облачком легких пушистых волос работа мысли шла постоянно. Помимо мыслей были и чувства, и смутные ощущения. Какой-то приземистый косолапый человек, напоминающий Вия, рисовался ей в темноте, и на секунду ее охватывал смертельный страх. Но она гнала его от себя и продолжала размышлять.

Вот как двигаться дальше без колеса, она не знала и вопросов на эту тему своим озабоченным водителям тоже, конечно, не задавала.

За две с лишним тысячи километров от этого места в ту ночь не спал еще один человек.

Игорь Петрович Заводилов лежал, не раздеваясь, на дорогом, как все в его квартире, покрывале, закинув руки за голову, и, глядя в потолок, перебирал в памяти свою жизнь.

Через две комнаты спала в совсем уж роскошной спальне его жена Валерия Степановна. В комнате, переоборудованной постепенно из детской в комнату тинейджера XXI века, то ли спала, то ли тем или иным из находящихся в ее распоряжении способов *оттягивалась* дочь Виктория.

Сон не приходил к Игорю Петровичу.

Он потратил немало сил, чтобы этому подонку не удалось уйти от ответственности. Доказательная база была хлипкой — все держалось только на записке, да к тому же один из экспертов высказывал сомнения насчет того, карандашом ли она написана. Пришлось убедить милицейских найти карандаш. Этот же эксперт утверждал, что карандаш не тот. Пришлось заменить эксперта, что стоило немалых, но не баснословных, то есть не московских денег. Подонок на суде отрицал, что он вообще писал записку Анжелике. А что почерк его, не отрицал, вот что примечательно! На дурачков, что ли, рассчитывал?

Адвокат здорово мешал. Подступов к этому молодому еще и вряд ли обеспеченному парню Игорь найти не смог. И главное — ведь не деньги большие отработывал! У матери убийцы (вот ее, еще совсем не старую, но вымотанную тяжелой безрадостной жизнью женщину, терявшую сейчас то единственное, что у нее было, Игорю, честно говоря, стало в какой-то момент жалко) денег не было, адвокат был «по назначению» (то есть назначенный государством). А старался так, будто ему горы золотые сулили! Похоже было, что он и правда уверился в невиновности своего подонка. А кто ж тогда убил, если не он, скажите, пожалуйста? Ведь никаких других вариантов не просматривалось. А адвокат все гнул свое — не виновен, и только.

Но все в конце концов прошло нормально, отправили отбывать пожизненное. *Вышки*, к сожалению Игоря Петровича и его друзей, в России теперь не было (они, впрочем, не теряли надежды, что ее им вернут).

Сомнений в том, что убийца — Олег Сума-роков, у Игоря Петровича не являлось. Но легче почему-то не становилось.

Около двадцати лет назад, в одной из командировок, Игорь познакомился с милой девицей, очень женственным движением нежной руки то и дело отводившей со лба русые пряди. Он и не знал раньше, что именно такие волосы называются русыми. После того дня или, вернее, ночи он некоторое время высматривал их у женщин — но никогда ничего, кроме разных оттенков краски, не находил.

Игорь был не Бог знает какой знаток живописи, но в школьные годы, под влиянием рано умершего отца-архитектора, проводил много времени в залах Третьяковки. И лицо девушки напоминало ему какой-то портрет начала XX века — когда еще милые, мягкие женские лица не сменились иными, под красными косынками, волевыми и жизнерадостными, чем-то схожими между собой и все более и более напоминающими плакатные.

Спустя года полтора дела занесли его в те же места. И кто-то передал письмо для Игоря его водителю. Письмо было от нее и не содержало ни упреков, ни каких бы то ни было требований. Ему просто сообщали, что их дочери девять месяцев, что мать назвала ее Анжеликой и что дочка на днях по-

шла. Вложена была маленькая фотография. Крохотная девчушка была похожа на Игоря до так не бывает. Письмо кончалось словами: «Я рада, что так вышло. Желаю тебе всего-всего и помню тебя».

Он даже подумывал было заехать — посмотреть на девочку, оставить денег. Но тут закрутились такие дела, что стало вовсе не до того и вообще ни до чего. И полетели горячие девяностые годы.

Незадолго до этой горячки у них с Валерией родилась дочь, он назвал ее Викторией, надеясь на победу. Видел мало, интересовался, чем она живет, и того меньше, все это передоверив жене. Так, копошилась в детской кудрявая толстушка, постепенно худея и вытягиваясь, щеголяя в коротких и очень коротких юбочках или модняцких джинсах. Постепенно вместо капризного плача или заливистого детского смеха стали слышаться из-за двери все более громкие, а затем и оглушительные звуки того, что теперь заменяет юным душам музыку.

И однажды услышал он — не из-под дочериной двери, а на каком-то концерте — песенку из оперы «Юнона и Авось»:

*Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.*

Бесхитростные, казалось бы, слова и за душу берущая мелодия нечто в нем задели, и глубоко.

Слова описывали их прощание так, как будто автор стоял тогда на рассвете у плетня и подсматривал.

Игорь послал в ту деревню далекой Курганской области одного из своих водителей — разыскать мать и дочь и передать деньги.

Водитель вернулся через четверо суток, сказал, что мать давно умерла от воспаления легких — когда отвезли из деревни в районную больницу, было уже поздно; что Анжелика живет со старой теткой, приходясь ей племянницей по покойному мужу; что в школе учится хорошо, на лицо и фигурку очень даже ничего и просматривается явное сходство с Игорем Петровичем, а в доме большая нужда, и что деньги отданы были тетке, которая показалась водителю женщиной достойной и Анжелику явно любила. Игорь припомнил

рассказанное когда-то русоволосой девушкой — что живет она с невесткой, вдовой покойного старшего брата, и очень дружно.

После этого с Игорем стало происходить что-то ему не очень понятное. То, что молодую красивую тридцатилетнюю бабу взяли и уморили — при наличии в распоряжении современной медицины кучи антибиотиков, — произвело на него, как теперь часто говорят, шоковое впечатление. И по выходе из этого шока он стал постоянно посылать тетке деньги, а затем наконец захотел увидеть Анжелику.

Тут стоит сказать, что к этому времени его собственная, если можно здесь так выразиться, дочь превратилась в законченную пятнадцатилетнюю стерву, холодную и не по годам расчетливую. Как человек умный и трезвый, Игорь ясно понимал, что винить тут кого-то, кроме себя самого, нечего.

Он опоздал.

Когда, подняв голову от дел, он сообразил, например, глядя на сотоварищей, что должен за свои деньги дать дочери очень хорошее образование, — выяснилось, что она настолько плохо учится и так равнодушна

к этому прискорбному обстоятельству, что вряд ли тут помогут какие-либо деньги. Да, винить было некого, но легче от этого, натурально, не становилось.

Впрочем, в такую же стерву выковалась и жена, когда-то милая ясноглазая девочка. С того момента, как он услышал обрывок ее разговора по телефону с подругой: «Конечно, жаль, что Всеволода убили, но все акты все-таки у Раи, и завещание, она сказала, в порядке. Ей, конечно, нет никакого смысла долго оставаться одной», — когда он услышал эти слова, произнесенные ее рассудительным говорком, когда-то ему так же милым, как и все остальное в Лере, он похолодел. Да так и не согрелся.

Но и здесь в бессонные ночи он брал всю вину на себя.

Анжелика же ему очень понравилась.

В первый свой визит он повез ее на машине из Оглухина в только что выстроенный мотель, приближающийся к европейскому классу, и там они долго ужинали. Она вела себя просто и мило. Стала называть его «папой», но на вы, говорила, как мама рассказывала ей о нем, и всегда только хорошее, и от-

правляясь в больницу с температурой уже за сорок, чувствуя, видимо, что живой в дом не вернется, наказывала, если будет очень большая нужда, разыскать его в Москве. «Он тебе поможет обязательно», — говорила мать слабеющим голосом. Потом помолчала и добавила: «Я думаю, дочка, он и сам тебя разыщет. Он хороший». И с этими словами отбыла в свой последний путь.

Этот простой рассказ и вовсе что-то перевернул в Игоре.

Его потрясло, что молодая женщина, умирая, считала его хорошим.

И он стал стараться быть хорошим.

Он все вспоминал, как в ту единственную ночь, слушая его неожиданную для самого себя исповедь, она все говорила ему: «Ты добрый, я знаю. Просто у тебя все так сложилось».

А как у него сложилось?

Начинал он в то горячее время с алюминия. Получил, продав вагон придержанного вовремя товара, первоначальный капитал. Потом крушил конкурентов, сметал помехи.

Раньше, в советское время, он всегда с горечью перечитывал финал своей любимой

книги — «Золотого теленка» — как ничего не может сделать в советской стране с большими деньгами человек, их добывший, — пусть и не честным трудом.

Игорь мечтал поехать в Италию, немало зная о ней от отца (так, впрочем, в ней и не побывавшего). Но он знал, что самое большее, на что может рассчитывать в своем КБ, — это попасть туда на три-четыре дня в толпе советских заранее запуганных туристов, без денег, — и то после обязательного, как карантин, посещения каких-нибудь *соц-стран*.

И вот кончились *соцстраны*. И деньги стали деньгами — на которые что хочешь, то и покупай, куда хочешь, туда и езжай.

Он был как все вокруг него — набирал и набирал, увеличивал и увеличивал.

И вдруг — что-то щелкнуло в нем после слов забытой, а потом и умершей женщины.

В это время дела его пошли уже по восходящей — ровно, без рывков и падений.

Можно было поднять голову и оглянуться вокруг. Оглянувшись, он увидел, сколько людей и особенно детей нуждаются в его помощи.

Игорь Петрович виделся с Анжеликой еще два раза. Дома у него о ней, естественно, не знали.

Не желая, чтобы пуля конкурента, от которой не застрахован ни один бизнесмен в сегодняшней России, застала его близких совсем уж врасплох, он вызвал нотариуса и составил завещание, посвятив в это только своего молодого, но очень толкового юриста, после чего положил документ в самый-самый тайный офисный сейф, взяв с юриста слово, что в случае его внезапной смерти тот без проволочки пустит завещание в производство.

Завещанием он делил свое немалое состояние на три равные части — жене, дочери Виктории, по достижении ею совершеннолетия (лишить их наследства он никогда не думал: какие бы они ни были, это были его дочь и жена), и дочери Анжелике, живущей в деревне Оглухино. Когда он попробовал упомянуть Анжелике про завещание, у нее вырвалось, и очень искренне:

— Папа, не надо завещания! Лучше живите!

С Анжеликой он ездил в Дом ребенка и в детский дом в их районе, а также в при-

ют, где детей с улицы держали по полгода, не больше, мыли, вычесывали вшей, приво-дили в относительный порядок, а потом куда-нибудь пристраивали — в детдом, интернат, в их собственную семью, ими покинутую, или же в чужую, готовую принять ребенка с уличными повадками.

Во всех этих заведениях детьми занимались порядочные, добрые люди, что Игоря глубоко поразило: по своему жизненному опыту последних семи-восьми лет он бессознательно был уверен, что такие люди вовсе перевелись на Руси. Во всех трех заведениях он оставил по крупной сумме денег — и уже получил несколько очень внятных отчетов о том, как именно эти деньги тратятся. Он уже составлял план, как учредит фонд, и Анжелика будет его директором, что не мешает ей получать высшее образование. Толковость, организаторские способности и совесть — он за несколько встреч разглядел в ней редкое сочетание этих качеств.

Дочь ничего не просила для себя. При этом с непосредственной радостью, но без хорошо знакомого ему хищного блеска в глазах принимала она его подарки. Его же само-

го очень радовало, что ей явно было с ним интересно.

В последний раз он подарил ей бирюзовое ожерелье, купленное в Венеции, — и она широко открыла голубые глаза, пораженная его красотой. К нему было и колечко с бирюзой. Какое-то необычное — когда он выбирал все это в Венеции при помощи секретарши, та особенно ахала над этим кольцом, и он долго вертел его в руках, рассматривая. Анжелика сказала, что ожерелье будет надевать по большим праздникам, а кольцо не станет снимать вообще никогда.

И вот все оборвалось.

Он лежал, бездумно глядя в потолок, по которому ходили световые полосы от проезжающих за окном машин, — и не мог сосредоточиться ни на одной стоящей мысли.

Стоит заметить, что в самое последнее время у Заводилова не то что улучшились, а скорее наметились какие-то отношения с Викторией. Она подходила к нему, встречая в кухне или в холле, прижималась, ласкалась, спрашивала иногда:

— Папочка, как ты себя чувствуешь?

И хотя уже года два как Игорь Петрович ясно понял, что его дочь любит на свете одного человека — себя, что реальны и чувствительны для нее только и исключительно собственные проблемы и что она совершенно не в силах понять, что вокруг нее — такие же люди, как она сама, из мяса и костей, с такими же нервными окончаниями, так же способные чувствовать физическую и душевную боль, — все-таки он отзывался на эти ее движения. В те минуты память ярко освещала ему картины прошлого — не такого и далекого, десять-двенадцать лет назад. Толстенькая девочка бежала по двору ему навстречу, сияя не только глазками, а всем личиком, налетала со всего разбегу, безоглядно веря, что в ту же секунду ее подхватят сильные отцовские руки и подбросят высоко в воздух. Ведь она любила его — умела, значит, любить? Куда же все делось — любовь, жалость, безоглядная вера?..

И ему начинало казаться, что, может быть, что-то тлеет еще на дне ее души, не все еще потеряно — сейчас, когда он столько потерял...

По звукам, донесшимся из холла, он понял, что Виктория вернулась из ночного

клуба — обычного в последний год места ее времяпрепровождения. Без всякой цели, скорее не зная, куда себя деть, чем желая увидеть дочь, он встал и пошел в кухню.

Виктория, войдя в дом, не заходя в свою комнату, пошла налить себе соку. Открыла холодильник — и тут же в кухню вышел отец.

— Налей и мне!

Она налила бокал и подала ему.

В этот момент Игорь Петрович Заводилов узнал, что слова «у него потемнело в глазах» — совсем не выдумка романистов. Он глянул на пальцы дочери, сжимавшие бокал, — и черная завеса задернула от него белый свет.



ГЛАВА 20

БРАТСТВО ОЩЕТИНИВАЕТСЯ

Залаяла собака, стукнула калитка, в дверь вошли трое — Женя Осинкина и с ней двое взрослых мужчин. Поздоровавшись со всеми за руку, эти двое тут же снова ушли на улицу — возиться с машиной.

— На соплях доехали, — доверительно пояснили они Ване-оперу, которого определили на глаз как если не старшего других по возрасту, то как человека солидного.

Женю все набившиеся в комнате приветствовали вытянутой вверх, над головой, правой рукой со сжатым кулаком, что означало готовность честно бороться за справедливость. Она всем ответила тем же жестом.

Перед ней были ее друзья.

Живущие в разных концах огромной России, они съехались по ее зову. Год назад Олег соединил их. Тогда же возникла Идея. Главным ее автором была Женя, но понемногу участвовали все. Некоторым из них это слово не нравилось, они предпочитали — Мысль, другие говорили — Действие. Так или иначе, все они были людьми, готовыми *действовать* — не во зло, а во благо, не для себя, а для других — для тех, кто в силу возраста, болезни или обстоятельств (как сейчас Олег) беспомощен и нуждается в их помощи.

Быстро обежав глазами комнату, Женя убедилась, что все, кого она рассчитывала здесь встретить, действительно здесь, всем улыбнулась, как умела только она. И все заулыбались ей навстречу, потому что невозможно оказалось не улыбнуться тому, к кому обращена была Женина лучистая улыбка и кому радостно кивала ее похожая на одуванчик головка.

Тут же Женя получила стакан свежезаваренного чая с вареньем на выбор — малиновым (из лесной, между прочим, малины), черничным или земляничным. Глотая горячий чай, она, сдвинув бровки, с ходу начала совещание.

— Вы все всё знаете. Олег в тюрьме, думает, что будет сидеть всю жизнь. Медициной доказано, что от одной мысли, что это — на всю жизнь, у человека автоматически начинают отключаться важнейшие участки, обеспечивающие здоровье и саму жизнь. Некоторые даже через год умирают. Каждый лишний день там разрушает здоровье, понимаете? Особенно когда человек знает, что невиновен.

Наши действия должны состоять из двух этапов. Первый — мы находим доказательства того, что Олег не совершал убийства. И тогда пишем — вместе с адвокатом, конечно, — надзорную жалобу в областной суд. Я сама ее отвезу и сдам под расписку в Кургане. Назначают суд, привозят Олега. Приговор отменяют. Заводят вроде новое дело — ну, снова ищут убийцу. Тогда — второй этап: мы ищем того, кто это сделал. Теперь уж де-

ваться некуда, надо все это распутать до конца, чтоб никто не шипел, что, мол, «убийц освобождают». Тут кое-какие наметки есть, но, конечно, ясности мало. Скорей всего, какой-то маньяк. Тем более, что через месяц около Шумихи убили еще двух девушек.

Вернемся к задаче первой. Что мы уже нашли? Во-первых, у меня в руках показания Лики Лекаревой, устанавливающие алиби Олега, и ее согласие выступить на суде. Во-вторых, надо найти в доме старую спецовку тети Груши. В ее кармане мог остаться важнейший документ. Он все прояснит. На суде спецовка не фигурировала. Олега взяли в Петербурге. Во что он был одет в день убийства — этим никто не интересовался, потому что о следах крови речь не шла: Анжелику задушили.

— А у нее же вроде лицо было изуродовано?.. — подала голос Нита. Она была на похоронах Анжелики.

— Ей прижигали его сигаретами, — сурово сказала Женя.

Все подробности страшного дела, тщательно ею собранные, она держала в уме, ничего не забывая.

Все остальные осведомлены были в целом, одни больше, другие меньше.

Мячик, например, и вообще не знал, что такое алиби, но сидел, непривычным образом присмирив, надеялся, что как-нибудь все само собой постепенно прояснится.

— Раз никто спецовку не трогал, наследство тети Груши еще никто не делил, то спецовка должна быть где-то в доме. Проблема в том, как нам ее из заколоченного дома добыть.

— Тут проблемы нет никакой, — раздался голос из угла.

В эту же минуту в дверь вошли Саня и Леша.

— Ребята, у вас, типа, можно в каком-нибудь углу прикорнуть минут на триста? Если негде, мы, короче, в машине поспим.

Мячик вскочил и повел водителей; с ними вышла из комнаты Нита — глянуть женским глазом, как он их устроит.

— Ну что, тогда ощетинились, что ли? — сказал Скин.

И все почувствовали себя готовыми к важным и решительным действиям.



ГЛАВА 21

ВИТЕК

Первый раз Витька взяли на дело в девять лет. Он легко пролез в комнату через форточку и открыл изнутри задвижку на двери.

Потом это было еще раз семь. Ему давали за это конфеты, шоколадки — денег никогда. Это были квартирные кражи. Хозяева обычно так и не просыпались — все было очень тихо. Никогда никого не убивали.

Потом всех взрослых постепенно пересажали. Витьку уже было одиннадцать лет. Он больше ни о чем таком не думал и даже ино-

гда удивлялся на себя, что помогал красть, особенно у старых и больных. Прошло несколько лет, и как-то летом, как раз на другой день после четырнадцатилетия, вечером после пивка (оно на него здорово действовало, только он не признавался старшим) трое взрослых ребят (один уже отслужил, двоих вот-вот должны были забрать) его подбили пойти с ними «на дело» — забрать у туристов, расположившихся на берегу речки, мотоциклы и покататься. Дело задумывалось веселое, почти безобидное.

Витек помнил тот вечер так, как будто он был вчера. Темно. Трава уже мокрая от росы. Долетал дым от костра, слышны были веселые голоса. Стали видны лица, освещенные пламенем. Весело засмеялась, закинув голову, девушка с толстой косой, перекинутой на грудь. У них в деревне кос никто не носил, все были стриженные. Послышались звуки гитары, и мужской голос запел красиво, как по телеку.

Сявый махнул рукой, и они тихо двинулись к реке.

Витек стоял на стреме, ждал, когда парни выкатятся на мотоциклах, заберут его, и они

помчатся на предельной скорости куда глаза глядят. Но что-то долго их не было, потом услышал он снизу, от реки, сильный треск сучьев, какие-то придушенные крики. Побежал вниз, скользя по глине и цепляясь за ветки. Когда Витек подбежал, двое туристов лежали неподвижно. Один уткнулся лицом в траву, и над ним истошно кричала девушка с косой, силясь его повернуть.

Туристы, оказалось, не захотели отдать свои мотоциклы просто так, и завязалась драка. У деревенских откуда-то оказались нунчаки (Витек и не знал, что они с ними ходят). Двоих туристов забили насмерть.

Потом на суде судья спрашивал Витька — если он не собирался идти на мокрое дело (а в этом суд в какой-то момент готов был ему поверить, хотя Сявый показал, что смертельные удары нанес будто бы именно он), то почему он не принял единственно верное с правовой точки зрения в такой ситуации решение: тут же покинуть место преступления и отправиться в милицию, чтобы сообщить об убийстве? Ведь иначе он становился соучастником двойного убийства. И Витек не мог объяснить судье то, что и без

всяких объяснений было, как ему казалось, очевидным, — что ни до какой милиции он ни в каком случае не дошел бы: те же парни догнали бы его и убили. Ведь они сразу поняли, что теперь им уже грозит *вышка*, а он бы, уйдя без них, становился свидетелем; хотя свидетелей там и без него хватало.

Сявому удалось убедить суд, что главным убийцей был Витек — вроде бы по недомыслию.

— Ваша честь, мы же взрослые мужики, что, мы не знаем, что за убийство полагается? Дрались — да, но убивать не думали. А он совсем озверел и голову туристу пробил.

Суд не поверил Витьку, что он не только не убивал, но вообще не участвовал в драке. А Витек навсегда запомнил, какое чистосердечие было во взгляде Сявого, когда он уперся за решетку.

Случись все это накануне дня рождения Витька — он бы уголовной ответственности не подлежал. А так ему дали семь лет — как несовершеннолетнему. Взрослые получили свое — по пятнадцать, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших.

Выпустили его по президентскому указу о помиловании через три с половиной — вел себя Витек в зоне очень хорошо, с законными лагерниками не якшался, день и ночь мечтал о том, как выйдет на свободу и больше уже на такие дела его никто никогда не заманит. В колонии было у него время поразмышлять о том, о чем никто и никогда не размышляет во время драк, — а надо бы. Об этих самых безобидных вроде бы поначалу ударах — ну, подумаешь, дерутся ребята! — которые неожиданно для дерущихся вдруг влекут за собой вот эту самую «по неосторожности смерть потерпевшего». А кто же осторожничает во время драки?

И Витек, выйдя из зоны, стал обходить драки за три дома.

Но навык домушничества за годы зоны почему-то не утратился (хоть применять его он и не думал), тем более, что и в восемнадцать лет Витек остался невысоким, худым (не так уж, видно, хорошо кормили в зоне) и гибким. Добавим, что стал он молчаливым и серьезным и рассказывать о своем четырехлетнем (считая полгода в следственном

изоляторе) печальном, а может быть, и страшном опыте не любил.

И теперь Витек, которого, впрочем, после его возвращения из зоны многие уже звали Виктором, предлагал Жене свою помощь по извлечению спецовки из закованного дома.

А Том сказал:

— Именно Виктору-то и опасно это делать: рецидив.

А Витек возразил, что опасность-то вовсе нулевая.

— Женя, — сказал Витек. — Мы сейчас с Мячиком сходим — посмотрим. И доложим — можно ли в принципе это сделать или рискованно.

Поколебавшись и взяв с Витька слово, что даже на крохотный риск он не пойдет («Нам сейчас как раз еще одного суда не хватает»), Женя отпустила ребят — на рекогносцировку местности, как тут же и пояснили знатоки военной терминологии.

В последний момент Том сказал тихо:

— Дженни, я пойду с ними.

Женя знала, что решения Тома всегда обдуманы. Она молча кивнула. Том вышел за Витьком и Мячиком.



ГЛАВА 22

ТОМ

Том Мэрфи родился в Вязьме.

Отец его был стопроцентный американец. Роман со стопроцентной русской будущей мамой Тома, развернувшийся в полях и лесах вокруг Вязьмы в середине роскошного среднерусского лета, закончился, как это подобает честному американцу, женитьбой — как только выяснилось, что готовится появление на свет Тома. Два года спустя после его рождения американец уехал в Америку. Мама с ним не поехала. Но брак их про-

должал существовать. Том дважды был в Америке, и отец принимал деятельное участие в его воспитании. Он купил им трехкомнатную квартиру в Москве, и они переехали — главным образом из-за того, что американский папа считал: Том должен получить очень хорошее образование. Он с уважением и даже, пожалуй, с любовью относился к Вязьме и часто повторял, что там прошли лучшие дни его жизни, но не без основания полагал, что среднее образование в Вязьме еще не достигло европейского уровня. Заметим, что он говорил именно о европейском: к школьному образованию в *своей* стране он относился скептически — в отличие от университетского, которое оценивал очень высоко и не раз высказывал надежду, что Том все-таки захочет после школы учиться в Стэнфорде, Гарварде, Йеле или Беркли. Он брался, само собой, платить за его обучение — очень и очень, заметим, большие деньги. Ну, правда, в Беркли, если кому интересно, плата много меньше, чем в трех других, — потому что это университет *государственный* (то есть принадлежащий *штату*), а не *частный*.

До получения паспорта Тому оставался год. За это время ему необходимо было решить, гражданство какой страны он принимает. А в настоящее время он был, с одной стороны, российский гражданин, а с другой — можно сказать, дважды американец.

— Как это так? — спросит любознательный читатель. А дело в том, что, хотя мама Тома в момент его рождения находилась в России, она ухитрилась родить его на территории Соединенных Штатов Америки.

По американской же конституции (которую Том знал так же хорошо, как российскую), как известно, «все лица, родившиеся в Соединенных Штатах, являются гражданами Соединенных Штатов», даже если у этих лиц и нет отца-американца. Рождение на американской территории давало Тому также приятную возможность стать всего лишь через двадцать лет с небольшим американским президентом — если только он из этих лет четырнадцать проживет постоянно в США. А чтобы стать российским президентом (в том же, кстати, возрасте — «не моложе тридцати пяти лет»), ему надо было, наоборот, постоянно проживать в России — не меньше десяти лет.

С рождением же Тома дело обстояло так. На последнем месяце беременности русская мама поехала со своим американским мужем в Москву — покупать необходимое для ребенка. Вечером они зашли в американское посольство, чтобы посмотреть там комедию. Будущая мама Тома так смеялась, что прямо в кинозале у нее начались родовые схватки (которые она планировала не ранее, чем через две недели). Ее повели в посольский — назовем по-нашему — медпункт, и, пока быстрые и деловитые американцы вызывали скорую помощь, не менее быстрая и деловитая русская родила прямо в ихнем медпункте. Тут же в посольстве отец, выпивая за здоровье мамы и младенца с соотечественниками, после энергичного и заинтересованного обсуждения проблемы на грохочущем — на слух, скажем, англичанина или австралийца — американском английском, решил назвать первенца Томом — в честь третьего президента его родины Томаса Джефферсона, просветителя и автора «Декларации независимости».

Родной язык Тома был, конечно, русский (хотя по-английски он говорил очень и очень неплохо, что однажды ему уже доро-

го обошлось — за хороший английский его избили те самые *скинхеды*, в компании которых был и Денис, с Томом тогда еще незнакомый). Но этого мало. Во всех спорах насчет употребления или значения того или иного слова или оборота русской речи он всегда выигрывал, прекрасно зная и литературный язык, и просторечие.

— Почему ты не знаешь слова «помстилось»? — спокойно и даже мягко говорил он Скину. — Это прекрасное русское слово, означает — показалось, померещилось. «Зеленя» — это когда осенью появляются зеленые побеги озимых, посеянных этим летом под зиму. А озимые, посеянные прошлым летом, к этому времени уже убраны.

Конечно, деревенские жители — Мячик или Нита — все это прекрасно знали. Но Денис был мальчик, что называется, выросший на асфальте, и для него это была полная абракадабра.

— А зачем мне знать-то это?

— Ну, вот ты любишь Россию. А Лев Толстой — это русский писатель?

— Ну.

— Мы должны им гордиться?

— Ну.

— А чтобы гордиться, надо сначала его читать — и понимать, что читаешь.

Том легко снимал с полки нужный том из собрания сочинений Толстого (если, конечно, разговор происходил в его, Женином или другом приличном доме, где все главные русские писатели всегда налицо, а наличие Донцовой или Коэльо как раз проблематично), быстро находил нужную страницу (Женю неизменно восхищала его организованность, проявлявшаяся не от случая к случаю, по вдохновению, а *всегда и во всем*) и читал вслух из «Войны и мира»:

— «Уже были зазимки, утренние морозы заковали смоченную осенними дождями землю, уже зеленыя уклочились и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи». Если ты не знаешь разницу между *зелеными* и *озимым жнивьем* и при этом ленишься заглянуть в словарь, для тебя Толстой будет понятен только наполовину. Да и многое в жизни сельской части России тоже останется неясным.

У Дениса все внутри клокотало, но как возразить, он не знал. Не скажешь ведь — «Плевать я хотел на вашего Толстого!»

«Войну и мир» он читать, конечно, не собирался — как и вся его компания. Его мать обещала купить к десятому классу кассеты с фильмом, и когда дойдет до сочинения, они собирались все вместе посмотреть. А потом все равно надо найти книжку с готовыми сочинениями и списать. Написать про Толстого самостоятельно никто из скинов, конечно, не рассчитывал.

Том легко показывал Скину, что если ты уж так настаиваешь, что «Россия — для русских!», то для начала неплохо бы знать свой родной русский язык, а не заменять — «не поганить», как обычно говорил Том, — его блатным или полублатным.

— Почему ты так не любишь родной язык? — вопрошал Том Дениса. — «Наезжать» — такого слова в вашем блатном значении в великом русском языке нет, — пояснял он, доводя Скину до белого каления.

— А что, лучше иностранщиной язык засаривать?! — кричал Денис. Говорить, а не кричать, он почти не умел.

— А что ты называешь иностранщиной? — спрашивал Том.

— Ну понятно что — нерусские слова!

— А какие слова — русские?

Изо всех сил сдерживаясь — хотелось тут же дать Тому по шее, чтоб он лучше прочувствовал проблему, Денис начинал перечислять:

— Ну, там — *лошадь... штаны*, например.

— Оба — тюркские, — беспощадно сообщал Том. — От татар остались. Еще?

— Ну, хлеб... изба...

— Из древнегерманского, — объявлял Том.

— Чего?! От немцев, что ли?

— Если хочешь — от немцев. А если точнее, от их далеких предков, древних германцев, позаимствовали наши далекие предки, то есть древние славяне.

— Тебя послушать — у нас своих слов вообще нет!

— Отчего же? Смотри что считать своим. Для меня, например, и хлеб, и абажур — *свои* слова.

— А абажур-то что?

— Ну, французского, конечно, происхождения. Ты в школе какой язык изучаешь?

– Французский, – с отвращением сказал Денис.

– Ну что же ты – не слышишь разве тут «jouг» – день? Abat-jouг – ослабляет, ограничивает дневной свет. А потом уж на свет лампы перешло... Но вообще-то, – сжалился Том, – я с тобой согласен, что без дела незачем иностранными словами русские заменять. Только когда своего слова не хватает. Вот доллар, например, еще при Пушкине в наш язык вошел – только произносился с другим ударением. Так зачем нам еще баксы?

Денис говорил, конечно, только баксы. Но защитить своего выбора аргументированно не мог – и спор сам собой затихал.

А вот Женю Том всегда называл Джейн или Дженни, от чего Скин кипел.

Больше же всего раздражало, даже бесило Дениса – но он ни за что на свете не признался бы в этом не только кому-нибудь, но в первую очередь самому себе, – что Том, имея полную возможность уехать в Америку и жить там припеваючи, этого почему-то не делает.

Любимым писателем Тома был Михаил Булгаков, а любимой книгой – его знамени-

тый роман «Мастер и Маргарита». Он знал едва ли не весь роман наизусть и пересыпал любой разговор цитатами, причем всегда к месту:

— Что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!

— Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!

— Брал, но брал нашими, советскими!

— Мне ли бриллиантов не знать?..

— Подумаешь, бином Ньютона!

— Денежки я приберу, нечего им тут валяться...

— Сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!

— Я буду молчаливой галлюцинацией.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...

Особенно он любил спрашивать, предлагая «Фанту» или «Пепси»:

— Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

А когда просили у него в долг десятку, говорил, в зависимости от состояния кармана, «У меня, может быть, полный примус валюты!» или же — «Не при валюте мы сегодня».

Женя, Ваня-опер и Ваня Бессонов понимали его с полуслова — порою и подхватывали бессмертные строки, едва он их начинал. Денис же Булгакова, конечно, не читал и, не понимая, что это за такой примус с валютой, еще больше злился на Тома — именно на него, который был для Скина частью ненавистной Америки.

Том знал в Вязьме и под Вязьмой места, связанные с Булгаковым, и в прошлое лето водил всю компанию — километра три по лесу — к тому месту, где была больница близ села Никольского. Ее разбомбили в 1942 году (под Вязьмой шли кровавые бои, с огромным количеством погибших с нашей стороны; немцев тоже, конечно, полегло немало). А за 26 лет до этого, осенью 1916 года, сюда долго добирался на телеге молодой врач Михаил Булгаков — и стал лечить местных крестьян от всех болезней.

На том месте, где была больница, заросшем травой в человеческий рост, стояли четыре огромные лиственницы.

— А откуда ты знаешь, что больница-то здесь была, если от нее никаких следов уже не осталось — трава и трава?

Это, конечно, спросил Мячик.

Том заверил всех, что больше нигде в округе ни одной лиственницы нет: «Я эти места на лыжах избегал». И значит — это точно то самое место, где жил и лечил будущий знаменитый писатель.

Почему же он был так в этом уверен? Да потому что начитанный Том вычитал где-то, что около больницы росли лиственницы — местные крестьяне называли их «немецкие елки».



ГЛАВА 23

ЧЕРДАК ЗАКОЛОЧЕННОГО ДОМА

Они обошли дом дважды. Было новолуние, и можно было надеяться, что их никто не видел. Но и фонарик тоже нельзя зажечь.

У стены дома, выходящей на запустелый в это лето огород, все заросло лебедой и, что гораздо хуже, крапивой. Наконец шепотом было принято решение проникать в дом через чердачное окно — очень маленькое, но незаколоченное — в надежде, что чердак не заперт снаружи, из сенцев, а дверь в дом

из сенцев тоже не заперта на ключ. Мячик и Том, сцепив руки, на три шепотом же произнесенных счета подбросили Витька, и он, зацепившись руками за края обломленного шифера, полез по не очень крутому торцевому скату крыши к чердачному окну. И мгновенно исчез в нем.

Им казалось, что прошло не меньше часа. Но, как выяснилось после, так казалось от непрекращающегося волнения: ведь их могли накрыть в любой момент. Прошел пьяный дядя Вася, горланя на всю ночную улицу песню про «мороз-мороз, не морозь меня», которую почему-то особенно любят русские подвыпившие люди. Том с Мячиком залегли прямо в крапиву; он их не заметил.

На самом деле прошло всего полчаса, и в чердачном окне появился Витек, махнул им рукой и спустил по скату какой-то куль. Подхватив его, они увидели, что это вывернутая наизнанку спецовка со связанными сзади рукавами: Витек



сделал так, чтобы не потерять что-нибудь из карманов. В темноте он их осматривать не стал.

После этого и сам Витек поехал по скату на животе, повис на краю на руках, и Том с Мячиком его подхватили. Рубаха на груди Витька оттопыривалась — он что-то туда набил.

В доме Мячика никто не спал, кроме водителей, — все ждали их возвращения.

Витек вручил Жене спецовку, за что был награжден самой обаятельной из ее улыбок, а потом достал из-за пазухи старую пожелтевшую коробку из-под печенья с кукольного вида девицами в кудряшках.

— Вот — еще было на чердаке. Я подумал — вдруг что-то дельное.

Женя открыла коробку, которая и так разваливалась прямо в руках от ветхости. В ней было несколько тонких пачек писем, перевязанных полуистлевшими голубыми и розовыми ленточками и написанных, судя по виду, самое меньшее лет сто назад.

— Наверняка это будет важно, Виктор, спасибо тебе, но — потом, — сказала Женя (и, добавим мы, намного опережая собы-

тия, — как в воду глядела). Отложив коробку в сторону, она взялась за спецовку.

Сначала Женя аккуратно разложила ее на освобожденном столе. С замиранием сердца она стала искать карманы и по одному их осматривать. В каком-то из карманов могла находиться судьба Олега Сумарокова.

Пока Витек в темноте лазил по опустелому дому тети Груши, Женя вела опрос юных жителей Оглухина.

Получалось, что уже после того, как уехал Олег и пропала Анжелика, вокруг дома тети Груши кто-то ходил, и не один. Ребята, прибежавшие попрощаться с Олегом и уже его не заставшие, заметили следы по крайней мере двух мужчин, и именно не кроссовок, которые зимой и летом носил Олег, а городских зимних ботинок. Если это те, кто убил Анжелику, то что им было надо в доме? У нее почти ничего не было, кроме того, что на ней. А убийцы даже шубу с нее не сняли.

Впрочем, вскоре Женя все поняла. Особо размышлять не приходилось. Эти люди проникли в дом, не замеченные тетей Гру-

шей, по-видимому, сразу после отъезда Олега и прежде, чем тетя Груша проснулась и подняла тревогу, увидев, что Анжелика так и не вернулась. Вошли с одной целью — найти ожерелье Анжелики и подложить его в комнату Олега. Вопрос, откуда они знали про ожерелье, смысла не имел — деревня есть деревня, и как только Анжелика первый раз надела такое дорогое ожерелье, через пятнадцать минут про него знало все Оглухино, включая малых детей и глухих старух.

Но тогда почему следов, по уверению главного деревенского следопыта Егорки, было больше, чем от двух мужиков?.. И кто ходил по чердаку в ту ночь?

Выяснилась и еще одна важная деталь: Нита, а точнее Антонина Плутатырёва, соседка Веры Ковригиной, узнала от нее, что Верин приятель и жених (одиннадцатилетняя Вера вполне серьезно делилась с пятнадцатилетней Нитой своими матримониальными планами, поскольку та выслушивала ее также очень серьезно) Федя Репин видел Олега в ночь убийства — и, что крайне важно, в большом удалении от места убийства. И теперь надо было ехать за Федей в Респуб-

лику Алтай, потому что по своей воле он не собирался возвращаться раньше 31 августа.

После сообщения Ниты Мячик долго сидел с обескураженным видом.

Ничего себе! Такую важную вещь про своего лучшего друга Федора Репина он должен узнать не от него самого, а через девчонок!

И вот наконец из правого наружного кармана спецовки Женя извлекла — не сдержав легкого вскрика, — сильно смятый бумажный комок ярко-красного цвета и бережно расправила его на свободном конце стола.

И тогда комок оказался первым листком той узкой тетрадошки, которую представляет собою, как знает каждый, кто хоть раз летал самолетами авиакомпании «Сибирь», а также, возможно, и других компаний, авиабилет.

Лицевая сторона узкого листка была синяя, а изнанка — красная. И на синей тонким темно-коричневым фломастером было написано:

«Жду тебя в девять вечера у мостика. Очень важный разговор! Олег».

В ошеломлении смотрела Женя на эту записку. Как могло быть, чтобы точно такая же оказалась на столе у Анжелики и вслед за тем в руках суда? Ведь не мог же Олег написать в один вечер две дословно совпадающие записки двум разным девушкам! Не вязалось это с Олегом никоим образом!

Она смотрела, казалось, в оцепенении, — и все молча, тоже оцепенев, смотрели то на записку, то на Женю. Одни из тех, кто столпились вокруг стола, знали все дело в деталях — например, Том — и не менее ее были поражены. Другие просто видели, как ошеломлена Женя, и от одного этого впали в замешательство.

Но мысль Жени отнюдь не оцепенела, а работала с бешеной скоростью. И наконец ее лицо прояснилось.

— Виктор, ты по всему дому прошел?

— Да более-менее по всему.

— Скажи, там у них кухня общая?

— Да, и большая довольно.

— А обеденный стол там стоит? Или только кухонный?

— Нет, обеденный есть.

Женя облегченно вздохнула и обернулась к хозяину:

— Мячик, найдется у тебя чистый лист бумаги? И фломастер, коричневый или какой-нибудь!

Мячик ринулся из комнаты и тут же вернулся с листом и фломастером.

Женя сдвинула спецовку на край стола, села поудобней, положила лист бумаги, а на него — расправленный листок с запиской. И провела по самому краю верхнего листка маленькую черточку фломастером.

После этого она осторожно подняла листок и вскрикнула.

На чистом нижнем листе отпечаталась черточка, будто проведенная *красным* карандашом.

Именно это Женя и предполагала увидеть — но сдержать вскрик не смогла.



ГЛАВА 24

КОРОТКАЯ, НО МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЮЩАЯ

— Прошу всех сесть, — торжественно сказала Женя.

Все расселись на стульях, табуретках и на полу и затаили дыханье. Один Том все уже понял.

— Слушайте же, что на самом деле произошло — по моему разумению, — добавила Женя свою любимую формулу, перенятую ею у дедушки. — Олег, уходя по каким-то делам, вдруг в последний момент решил напи-

сать записку Лике — и оставить у нее в двери: он знал, что сейчас ее дома нет и еще долго не будет. В этот момент он уже выходил из своей комнаты через кухню, торопился, а под рукой у него бумаги не было. Тогда он пошарил в карманах, а там — авиабилет. Он же по нему слетал к матери — билет уже ненужный. Он оторвал от него верхний листок и присел к кухонному столу, на котором, заметьте себе, лежала газета! И прямо на газете — это же удобней, чем на голом столе, — написал коричневым фломастером на этом оторванном листке записку Лике. И выбежал с этим листком из дому. И не заметил, когда выбегал, что весь текст записки отпечатался на газете, только красным...

Когда пришла Анжелика — тоже через кухню, — она сразу увидела: на столе газета и прямо на ней — записка! Обращения-то там нет, вы же видите! А она все время думала об Олеге. И сразу решила, что записку он ей написал. Кому же еще, раз в их кухне оставил?!

— Круто... — прошептал Мячик.

— А что она еще могла думать в такой ситуации? И в назначенный в записке час радостно пошла к мостику!

— Навстречу своей гибели, — тихо добавил Том.

— А Олег, вернувшись домой, — продолжала Женя, и все слушали ее не шевелясь, — уже не увидел газеты с отпечатавшейся запиской, которую не заметил и раньше, убегая. Не увидел потому, что Анжелика, прочитав, естественно, отнесла ее в свою комнату. Там потом и нашла записку милиция. Экспертиза была неряшливая (Женя повторила слова адвоката), и эксперты не увидели, что это копия. Хотя должны были увидеть.

Женя замолчала. В комнате стояла тишина.

— И что же теперь будет? — пискнула Нита.

— Записку надо срочно передавать адвокату, — сказала Женя.

— Пусть пишет надзорную жалобу, — добавил Ваня-опер.

— А я, — продолжала Женя, — срочно еду на Алтай разыскивать Федю Репина.

— А чего его разыскивать, — подал голос Мячик. — Он у какой-то из своих теток.

— А адрес?

— Я всех троих адреса знаю, они все в разных районах живут. А между районами километров по триста, а то и побольше. А у какой

тетки он сейчас — я не знаю. Он там у них на-
расхват.

Тут все неожиданно заметили, что за ок-
нами давно уже утро.

Голубел выцветший ситчик августовского
неба. Березовые косы едва колыхались
и слабо шелестели своей свежей зеленью,
еще почти не тронутой золотом. И птицы
робко пробовали заспанные голоса.

В комнату вошли Саня и Леша, одетые
и умытые.

— Ну, куда едем? — бодро спросил Калуга.

Была его очередь садиться за руль.



ГЛАВА 25

ЖЕНЯ ГОТОВИТСЯ К БОРЬБЕ

Женя распределяла функции — кому ехать, кому оставаться и что делать.

— Первое и главное — полная тайна. Те, кто хочет, чтобы Олега освободили, пусть зарубят себе на носу (так всегда говорила Женина бабушка — «И заруби себе на носу!..»); Женя так и не поняла, что это значит, но в нужных случаях охотно повторяла) — сейчас все зависит от того, сумеем ли мы

держат язык за зубами. Поймите — дело считается закрытым: вина доказана, человек отправлен в тюрьму. А мы опрокидываем...

— ...всю доказательную базу, — продолжил Ваня-опер.

— Да! И это значит — кто-то грязно работал, кому-то за это попадет. Станет известно про пытки в милиции, про то, как выбивали у Олега признание. Ясно же — те, кто в этом виновен, будут изо всех сил стремиться помешать отмене приговора.

Главное — записка. Исчезнет записка — все кончено. Про нее никто, кроме всех нас, кто сейчас здесь находится, и адвоката, не должен знать. Если бы у нас был сейф — надо было бы хранить ее в сейфе.

На этом знакомом им слове Саня и Леша встрепенулись. Во все подробности дела, которым была занята Женя, они не вникали, но на ключевые, так сказать, слова реагировали.

К тому же записку они уже рассмотрели, удивились на ее хитрую изнанку, из-за которой человек отправился на пожизненное, и успели сказать Жене, что если надо будет

подтвердить, откуда эту записку сейчас взяли, — они свидетели. Значение этой записки они осознали сразу и сполна.

— А чего сейф? — сказал Леша. — Наш барда...

Тут Леша вспомнил, как Женя говорила им, что слово, которое он привычно хотел произнести, — не очень-то приличное, и просила заменять его каким-нибудь другим.

— ...Шкафчик-то наш — ну, напротив переднего сиденья, — чем он хуже сейфа? Любой сейф открыть можно. А тут прежде нам с Саньком надо бошки отвернуть. Причем обоим.

Они переглянулись, и всем присутствующим сразу стало ясно, что отвернуть головы им обоим — очень и очень непростое дело, и не всякому, и даже не всякой большой компании оно под силу.

— Ну что же, — сказала Женя, — спасибо, Леша! Да, наша машина для этой записки — не худшее место. По пути с ней как раз к адвокату заедем.

Женя повернулась к Тому.

— Я хотела бы, чтоб ты со мной поехал — будем вместе говорить с адвокатом. И ты,

Мячик — сможешь разыскать Федю Репина в этом Горном Алтае. Там что, одни горы?

— Да нет, — Мячик, еще не отошедший от своего огорчения, дернул плечом, — почему горы? Там и речки есть.

— Мы будем работать, таким образом, над оправданием Олега, — продолжала Женя. — У нас для оправдательного приговора есть две очень важные вещи: два свидетеля, подтверждающие алиби Олега, и вещественное доказательство того, что Олег не писал записку Анжелике, не вызывал ее в тот вечер к мосту — то есть к месту убийства. Он вызывал — вернее, собирался вызвать — совсем другую девушку. Мы только не знаем, кто же убил Анжелику...

— Да это ведь не наше дело, а дело нового следствия! — вмешался Ваня-опер.

— Не скажи, Ваня. Было бы очень важно, если б что-то мы узнали об этом. Я тебя, Ваня, прошу организовать здесь, на месте, группу по расследованию обстоятельств преступления. То есть начать готовить второй этап операции. Собрать все, даже незначительные, детали, все свидетельства очевидцев — всё, мимо чего милиция прошла.

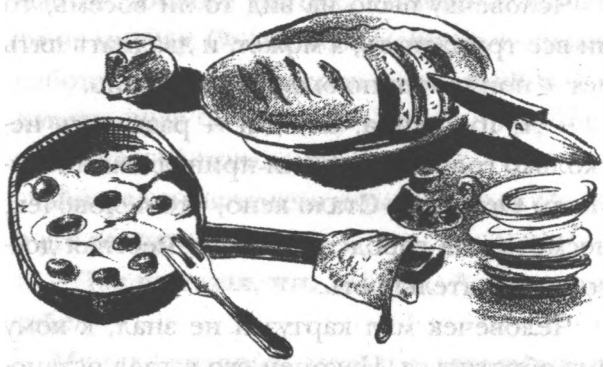
Она ведь только одной версией занималась — ложной. А нам нужно найти убийцу или убийц!

Женя говорила сухими формулировками, как строгая учительница, но щеки ее пылали, а глаза — особенного, редкого темно-зеленого цвета, напоминавшего цвет бутылочного стекла старых дорогих вин, горели. Она приготовилась к тому, что было, может быть, главным ее призванием, — к борьбе за правду.

В этот самый момент послышался странный звук — будто дверь в сени кто-то царапал когтями, скребся.

Леша и Саня встали одновременно, Леша осторожно приоткрыл дверь.

И в нее протиснулся маленький человек.



ГЛАВА 26

НОВЫЕ ТАЙНЫ

Человечек стащил с головы щегольскую кепочку и зажал ее в кулачке. Он был в бежевом костюмчике — таком шершавом, в крапинку, который знающие люди назвали бы, пожалуй, твидовым. А под пиджачком была беленькая рубашечка; ее манжеты, как положено, на палец выглядывали из-под обшлагов. Ловкие темно-коричневые штиблеты были начищены так, что казались лаковыми, хоть лак и бывает, кажется, только черный.

Человечку было на вид то ли восемь, то ли все тринадцать, а может, и двадцать пять лет — понять точно было невозможно.

— А, Горошина, заходи! — раздалось несколько голосов. Все они принадлежали жителям Оглухина. Стало ясно, что человек, несмотря на городской вид, — местная достопримечательность.

Человечек мял картуз и не знал, к кому ему обратиться. Наконец его взгляд остановился на Жене.

— Доброе утро, мадмуазель! — сказал он чопорно. Женя смотрела на него во все глаза и с трудом пролепетала в ответ:

— Доброе утро...

— Вот, — так начал он рассказ. — Вот. Еще стояла зима. Но уже таяло. Я гулял за околицей. Боялся промочить ноги. Вдруг я увидел человека. Он был одет как горнолыжник. И синие брюки на коленях выпачканы — как будто ползал где-то в пыли. У него было в руке такое удобное устройство... такая двойная дорожная сумка... или двойной портфель... или плоский чемодан, складывающийся вдвое... Ну, с таким багажом путешествуют джентльмены в коротких поездках. Там уме-

щается костюм, он складывается пополам, но не мнется. Он спросил меня, хочу ли я заработать десять долларов — как аванс, а если доведу дело до конца — то получу еще пятьдесят. Я сказал, что хочу.

Тут раздался издевательский смех Скина и его голос:

— Так и сказал, что хочешь? А зачем они тебе?

Мячик, который нередко заводился от Скина, тоже не выдержал:

— Ты бы сказал, что тебе его доллары ни к чему, что у тебя свои золотые прииски!

Тут уже не выдержали и засмеялись еще несколько человек. Стоит учесть, что все уже много часов находились в непрерывном напряжении. И лишь последний час оно стало немного ослабевать.

Только трое слушали неожиданного визитера с напряженным вниманием. Это были Женя, Том и Ваня-опер.

Не обращая внимания на реплики и смех и не прерывая рассказа, человечек поведал, что джентльмена этого он видел впервые, что тот был взволнован, хотя и старался это скрывать, явно спешил и в то же время был

озабочен необходимостью выполнить нечто перед отбытием.

— Он дал мне сначала десять долларов. Я держал их в руке, не зная еще, за что мне их дают. Он велел мне их спрятать. И достал из кармана конверт...

Горошина достал конверт из-за пазухи.

— Вот этот. Он был запечатан и таким, как видите, и остался.

Человечек повертел конверт перед всеми.

— Он сказал мне, что завтра или послезавтра здесь появится один человек. «Ты его сразу узнаешь, — сказал он, — он не из ваших краев. Подойдешь к нему и скажешь: “Вам привет из Ялугоровска”. И если он ответит: “Что, там к севу готовятся?” — значит, это тот, кто тебе нужен. Ты дашь ему этот конверт. Он его вскрыет, прочтет и даст тебе еще пятьдесят долларов. Но никому — слышишь? — никому, кроме него, не отдавай этого конверта».

Он отдал мне конверт и сразу зашагал не по дороге в сторону Щучьего, а по тропинке — прямо в лес. Да так быстро — я прямо не успел толком понять, когда он скрылся из

глаз. А ведь сквозь наш лес и летом не больно-то пройдешь...

Речь говорящего неожиданно стала более живой и простой.

— Так что уж и не знаю, куда он двинулся. А тот, другой, — он так и не появился.

— Не получился твой бизнес? — Скин опять захохотал.

Но некоторым было не до смеха.

— Когда точно все это было? — быстро спросила Женья.

— Да вот — тогда утром как раз нашли Анжелику...

Воцарилась тишина.

Горошина еще держал конверт в вытянутой руке. Женья подошла и взяла его.

— Значит, около пяти месяцев прошло? — спросил Том.

— Да... получается так.

— Тогда я вскрываю конверт, — сказала Женья.

Никто не возражал.

Посмотрев конверт на свет, чтобы не повредить при вскрытии того, что внутри, Женья аккуратно не оторвала, а выщипала край. Ее папа всегда и неизменно разрезал конвер-

ты, но Женя в нетерпении не стала просить у Мячика ножницы.

В конверте оказался узкий листок бумаги. На нем было написано печатными буквами следующее:

Дуга 1982 Бри

Дата 50

И все.

Женя положила листок на стол, все вскочили со своих мест и склонились над ним.

Мы не будем пересказывать все предположения, какие делались в течение получаса относительно содержания листка. Скажем только, что сколько-нибудь убедительных среди них не оказалось. Однако все сошлись на том, что это — шифр, и что он должен иметь какое-то отношение к убийцам. Но какое?

В тот самый момент, когда все сидели в задумчивости и недоумении, Нита ловко расставила чашки, блюдца и маленькие тарелочки, поставила на стол три банки разного варенья и стопку розеток, а также уже нарезанный пышный пшеничный хлеб, которо-

го в Москве и сегодня днем с огнем не найти. (Хороший хлеб, заметим в скобках, раньше, до советской власти и колхозов, проверяли так: на каравай клали полотенце, потом сверху садились, и если он после этого подымался и принимал прежнюю форму — это был хлеб...) А Мячик в это же время внес огромную, с колесо от детского велосипеда, сковороду со скворчащей яичницей, изготовленной не на каком-нибудь масле, а на сале, предварительно обжаренном и превратившемся в шкварки. Кто не ел в Сибири или на Украине шкварки, тому и объяснять про них нечего, все равно не поймет. Вбито же было в эту яичницу ровнехонько 16 яиц.

Нита в этом доме распоряжалась по-хозяйски, поскольку приходилась Мячику троюродной сестрой, и его родители, отправляясь каждое лето вместе со старшими братьями Мячика на заработки, оставляли и дом, и его самого на ее попечение.

Тут все вспомнили, что еще не завтракали. А появление еще одного лица было встречено криками, что он — кстати. Появившегося все собравшиеся любили. А он и не мог не появиться — слух о том, что в до-

ме Мячика собрались все, прокатился по улицам Оглухина мгновенно. Для таких сообщений в их деревне телефонной связи не требовалось.

Расскажем о пришедшем, прежде чем он подсел к столу. Переместимся для этого в пространстве и времени — в его дом и во времена, несколько предшествующие описываемым событиям.





ГЛАВА 27-Я,

**ФУТБОЛЬНАЯ, В КОТОРОЙ В ИГРУ
ВСТУПАЕТ СЕНЯ-НЕФАНАТ,
ОН ЖЕ КУТИК**

Сеня ворочался в постели. Простыня сползала, подушка была слишком теплой.

Роналдо обвел первого британца правильно, но второго-то надо было обманывать.

Удаление Рональдинью было много хуже, чем удаление зуба прошлой зимой. Злой ме-

ксиканец-судья! Сеня совершенно спокойно дал бы удалить себе еще один зуб безо всякого наркоза, лишь бы волосатого Рональдью с лицом Майкла Джексона вернули на поле. Ну, поорал бы Сеня немножко в проклятом кресле, зато вернулась бы прекрасная, разумная, похожая одновременно на красивое математическое решение и музыку Моцарта игра.

Следующие дни не принесли особенного удовольствия.

— Ну что? — заискивающе спросил отец после первого тайма финального матча Бразилия—Германия.

— Немцы не решили проблему Клеберсона, — бросил через плечо Кутик и ушел на пятнадцать минут перерыва во двор играть с Зико. Так, по имени одного из лучших игроков бразильской сборной 1982-го (тогдашнее поражение Бразилии в матче с Италией, случившееся за девять лет до рождения Кутика, было его незаживающей раной), звали Кутикова пса.

Настает время поставить точки над і.

Сказать, что Кутик любил футбол, — это не сказать ничего.

Он был погружен в мир футбола так, как чемпион мира — в шахматы. И редко ему удалось найти достойного собеседника.

Сам он играть не мог — с трех лет у него была больная коленка. А с пяти он уже начал жить футболом.

Он заставил родителей подписаться на газету «Известия», когда увидел, что там появился человек, что-то понимающий в футболе, — Игорь Порошин (потом в этой же газете объявился еще один понимающий, с фамилией в рифму — Навоша). Кутик не любил читать. Но статьи Порошина он прочитывал, шевеля губами, от начала до конца. Его родители не могли привыкнуть к этому. Как один и тот же человек с трудом читает детский рассказик в учебнике — и с еще большим трудом пересказывает (зато с математикой, заметим, у Кутика был полный порядок), а огромную корреспонденцию о последних футбольных событиях, напечатанную мелким шрифтом, проглатывает — и все прекрасно понимает и запоминает?!

Вот и с музыкой. Можно ли сказать, что Кутик любил музыку? Он не знал опер, не

знал имен композиторов. Но достаточно было послушаться звукам Моцарта, как он бросал свои дела, садился тихо где-нибудь в уголке и слушал, всегда при этом отвернувшись к стене.

Он любил футбол, а больше всего — сборную Бразилии. Выигрывала ли она или проигрывала — он любил ее всегда, неизменно и беззаветно.

Чемпионат, удачный для Бразилии, сделал тот год для него счастливым. Гимн Бразилии, больше похожий на вальс, чем на гимн, и от этого еще больше любимый, звучал не смолкая.

Еще он любил клуб «Реал» — и сейчас те, кто не знает о нем ничего, поймут — почему, а те, кто знают, уже давно поняли.

В ту весну было не до уроков.

Флорентино Перес был выбран на должность президента королевского клуба «Реал». Долги клуба оценивались в 300 млн долларов.

Вместо того чтобы найти тихий уголок и повеситься, Флорентино что-то продал, что-то перепродал, откуда-то надыбал долларов и перекупил у «Барселоны» Фигу, а у

«Ювентуса» — лучшего игрока планеты Зинедина Зидана.

Кстати говоря, ближайший друг Кутика Валера не мог запомнить его фамилию и все время говорил «Зиндан», жутко раздражая Кутика. Папа Валеры полгода служил в Чечне, в Чернокозове. И там они разных задержанных все время сажали в этот зиндан — такую яму, на дно которой опускают людям еду и воду («Если опускают», — обмолвился как-то Валерин отец, нехорошо ухмыльнувшись).

Потом Флорентино купил себе Рональдо.

Кутик знал, что всех этих игроков — вместе с Раулем и Роберто Карлосом (Кутик просил родителей, чтобы они переименовали его из Семена в Роберто Карлоса, но они не согласились) — в Мадриде называют святыми. Им установлены прижизненные памятники. Перес подумывал прикупить еще Бекхэма или Шевченко (Кутик, если денег на двоих у Переса бы не хватило, посоветовал бы все-таки Шевченко), но испанцы чуть с ума не посходили — будто он хотел ввести в команду игроков сегодняшнего «Спартака».

В последующие два года Кутик ни в коем случае не хотел бы быть на месте Висенте дель Боске.

С двух попыток «Реал» в Лиге чемпионов не смог обыграть греческий клуб, проиграл «Милану» в гостях, «Роме» — дома и сыграл вничью с «Локомотивом», пропустив на собственном поле два мяча.

Заметим, что отец Кутика — железнодорожник — болел на том матче за «Локомотив», как и почти все граждане России, но старался не очень показывать сыну свои переживания и растягивал рот до ушей за его спиной беззвучно, смеша Кутикову маму.

К внутренним матчам Кутик был почти равнодушен. Вопли болельщиков во всех домах его деревни во время игры воронежского «Факела» с владикавказской «Аланией» вызывали у него насмешливую улыбку.

Может быть, Кутик не был патриотом? Нет уж, так сказать о нем мы никому не позволим. Кутик очень любил свою страну. И не раз, читая книжки про войну, которых осталось в доме немало еще с отцовского детства, думал с холодком особого восторга, как тоже отдал бы за родину жизнь. Но Кутик

был, мы бы сказали, честным и самолюбивым патриотом.

Его оскорблял заведомо иной, скажем так, чем в Европе, уровень отечественных клубов и еще более — сама порывистость побед. Эти редкие победы всегда проливались неожиданно, как весенний ливень, и никогда не закреплялись, никуда не вели, не входили, так сказать, в состав крови победивших команд. Хотя бы рывок «Спартака» в 1996 году — что он принес, кроме дохода пивоварам? Фанаты Спартака выпили огромное количество пива и превратили Георгия Ярцева в красивую легенду. И что дальше? Что дал его непонятный переход в «Динамо»? Ничего, кроме устойчивого девятого места, он ментам не принес. Для себя Куттик давно решил, что Ярцев — легенда без достижений, хотя, возможно, не формулировал свое отношение к тренеру именно этими словами. Да вполне достаточно было хотя бы последить за работой Отмара Хитцфельда с «Боруссией», чтобы раз и навсегда понять — российской сборной для побед в европейских чемпионатах нужен не российский тренер. И точка.

Кутик не видел в России тренера, который мог бы придумать, кем и как нам играть в защите. И твердо знал, что ни Газзаев, ни Дасаев, ни даже Бесков этого не придумают. И не хотел притворяться, будто верит сказкам, что без мата играть в футбол российским людям нельзя, а раз иностранные тренеры не могут правильно материться, то они нам не подходят. То-то мы с матом шибко хорошо играем!.. В этом, если хотите, и был патриотизм Кутика.

В общем, ко всему, что творилось на наших российских футбольных дворах, будь эти дворы даже размером с Лужники, Кутик относился с брезгливостью. Для него все это был футбол *дворовых команд*.

Любимой книгой его деда в детстве была «Повесть о настоящем человеке» — о летчике, который, потеряв обе ноги, сумел снова сесть за штурвал самолета.

Кутик тайно от всех писал «Повесть о настоящем бразильском человеке Роналдо».

Вот какой человек появился в это важное утро на пороге дома Мячика, среди всей честной компании.

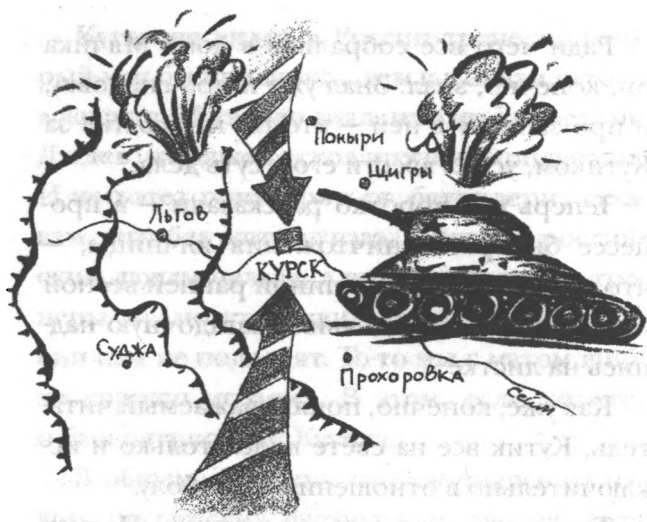
Ради чего все собрались в доме Мячика он, конечно, знал. Знал уже и про спецовку, и про записку в ней — кто-то, кто сбегал за Кутиком, успел ввести его в суть дела.

Теперь ему коротко рассказали — в процессе быстрого уничтожения яичницы, — что произошло с Горошиной ранней весной на околице. И предъявили загадочную надпись на листке.

Как уже, конечно, понял уважаемый читатель, Кутик все на свете видел только и исключительно в отношении к футболу.

Так он взглянул и на эту надпись. И, почти не задумываясь, сказал:

— Бразилия — Италия. 2 : 3.



ГЛАВА 28

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ

— Чего?! — заорал, как всегда, Мячик. —
Что ты несешь? Какая тебе Бразилия?

— Не шуми, Мячик, — сказал Том, сразу
что-то почувствовавший. — Так что, Кутик?

— Я же говорю — два-три.

Это был счет в злосчастном для Бразилии
матче с Италией в чемпионате 1982 года.

Кассету с этим матчем Кутик смотрел не
раз. Один, в своей комнате. Сократес! Зико!..

Если бы Кутика разбудили среди ночи и попросили назвать счет, которым закончился этот трагичнейший в истории человечества матч (конечно, трагедией он был для той части человечества, для которой футбол — не мячик, который мужики зачем-то катают по полю), он, не задумываясь, проворчал бы: «2 : 3» и заснул снова.

Итак, в записке, которую один человек передавал другому, своему сообщнику, вне всякого сомнения, заключен был шифр.

Но какой? С какого боку к нему подступаться?

Как только Кутик взглянул на четыре цифры и три буквы, ему стало ясно: среди преступников (а кто мог сомневаться в том, что конверт Горошине передал преступник — для другого преступника?) оказался человек, так же влюбленный в бразильскую команду, как Кутик. Мало того — тот, кому адресована записка, тоже должен был мыслить так же, как писавший, — и как Кутик!..

Что же еще для всех троих могло означать «БрИ», если не Бразилия—Италия? И что могла обозначать цифра 1982, если не мрачный 1982 год?

Как жалко стало Кутику, что и писавший записку, и тот, кто должен был ее получить, — преступники!

— А Дуга? Что же такое тогда — Дуга?

Тут в дело вступил Ваня-опер.

В любой из школ на необъятных просторах нашей родины и сегодня (мы хотели бы подчеркнуть, что уверены в этом) обязательно есть такой человек, а иногда и не один, который назубок знает всю историю Великой Отечественной войны.

Разбудите такого юношу лет десяти-четырнадцати среди ночи и спросите, когда началась и когда закончилась Сталинградская битва. И он сонным голосом ответит вам: «С середины августа 1942 года до 2 февраля 1943-го...» Да еще добавит, пожалуй, если чуть-чуть проснется: «Вообще-то Паулюс подписал капитуляцию 30 января... Но пришлось еще день-два повоевать...» Повернется на другой бок и снова заснет.

— В Москве есть Курский вокзал? — спросил Ваня. Вообще-то он знал, что есть, но решил уточнить — из любви к проверенной информации.

— Есть! — хором ответили Женя, Том и кто-то третий.

В этот момент Женя подумала, что у нее так и не было минутки, чтобы спросить у Ивана о его планах, — ведь она даже не знала, где именно он теперь предполагает жить и учиться. И вспомнила, что сентябрь уже не за горами... Но тут же заставила себя забыть об этом: ей предстояло прежде выполнить задачи несоизмеримо более важные, чем подготовка к первому сентября и покупка всякой нужной мелочевки.

Ваня, помолчав немного, сказал:

— Во время Великой Отечественной было такое знаменитое сражение на Курской дуге.

При этих словах оба «афганца», слушавшие до сих пор вполуха, как по команде, одновременно подняли головы и насторожились: все, что относилось к военным действиям российской армии в любые времена, их интересовало. А про эту битву они-то, в отличие от большинства присутствующих, конечно, как все взрослые мужчины в России, кое-что знали.

— В 1943 году.

Помолчав, Ваня добавил:

— Разведка наша здорово сработала, и 3 июля войскам был отдан приказ — быть в высшей степени готовности и ожидать удара немцев между 4 и 6 июля. Ну, в общем, немцы сначала продвинулись, а потом 12 июля началось наше контрнаступление.

Ваня снова замолчал. Он был в затруднении: продолжать ли ему рассказ — про танковое сражение под Прохоровкой, самое крупное, насколько он знал, в истории танковых сражений, про количество жертв, или это все сейчас лишнее?

— А потом? — не выдержал Мячик.

Тут не выдержал в свою очередь и Том:

— Хочешь узнать, кто выиграл войну? Это военная тайна.

Женя сделала знак своей тонкой ручкой, и мальчишки умолкли.

Но Иван все-таки добавил:

— В общем, попытка Гитлера взять реванш за Сталинград на Курской дуге провалилась.

— Так что, Иван? — спросила Женя, уже чуть-чуть нетерпеливо.

— Ну что? — Иван для солидности еще помолчал. — Я думаю, это Курский вокзал,

там — камера хранения. Шифр обычно четырехзначный — 1982. А вот номер ячейки...

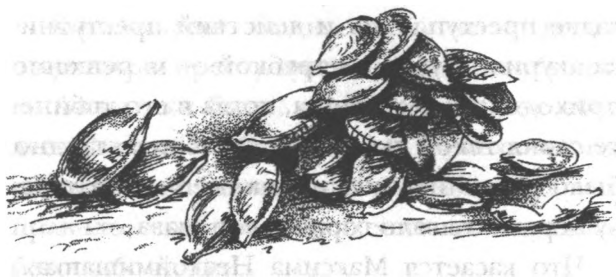
— Номер нам известен, — сказал Том. — Если Кутик правильно просек — а я думаю, что правильно, — то 2 : 3 надо читать как 23. Ячейка 23. Там что-то положили важное. Вернее, собирались положить.

— Да, точно! — забыв про солидность, торопливо заговорил Ваня-опер. — Тот мужик, который дал письмо Горошине, что-то вез в этом своем полчемодане — вез отсюда, из Оглухина. А может, и не в чемодане, а вовсе в кармане, не большое, а маленькое, я не знаю. Вез в Москву, для кого-то второго. Может, он ему тут, в деревне, должен был передать, но почему-то не смог дожждаться. И явно торопился, Горошина же видел. Да и все на это указывает — ну чего ему такое важное дело первому попавшемуся пацану поручать?

Горошина нахмурился и слегка надулся. Он-то никак не считал себя первым попавшимся, и тем более пацаном. Ваня-опер мог говорить все, что ему угодно, но он ведь не присутствовал в момент передачи конверта. Сам Горошина был уверен — тот человек, по-

павший в сложное положение, долго выбирал, кому бы мог он доверить такую ответственную миссию. И увидел наконец того, кто внушил ему доверие своим *респектабельным* видом... Горошина узнал это слово в прошлом году и очень полюбил, полностью относя к себе.

В этот момент все вдруг заметили, что в глубокой тарелке на углу стола — целая гора шелухи от тыквенных семечек.



ГЛАВА 29

В ИГРУ ВСТУПАЕТ ШЕРЛОК ХОЛМС

Его все звали Шерлоком Холмсом, хотя многие ребята в Оглухине, скажем правду, не читали Конан-Дойля. Но в течение нескольких бесконечных зимних вечеров, начинавшихся в разгар зимы уже в четвертом часу дня, Нита пересказала собиравшимся этими вечерами в доме Мячика — излюбленном месте сбора оглухинских юных душ — «Собаку Баскервилей».

Как известно каждому, кто все-таки читал Конан-Дойля или хотя бы смотрел отличный отечественный телесериал про великого сыщика, Шерлок Холмс, ища ключ к раз-

гадке преступления и действий преступника, курил трубку за трубкой — и решение приходило к нему тогда, когда в его кабинете стоял такой дым, что сквозь него трудно было различить хозяина, а свежему человеку перехватывало горло и ело глаза.

Что касается Максима Нездоймишапка... Да, смеем вас уверить, именно такова была его фамилия. Мы просили бы глубоко уважаемых нами читателей нашего правдивого повествования не сомневаться в том, что она отнюдь не вымышлена и что у друзей Максима было, как сами они полагали, еще одно основание для замены его мудреной фамилии именем и фамилией прославленного сыщика. Так вот, что до Максима, он же Шерлок Холмс, — обладая недюжинными способностями детектива (и пусть то, что таких людей не привлекают к расследованиям, останется на совести тех, кто сегодня в России занимается этими — увы! — не всегда успешными расследованиями), он для интенсификации работы мысли не переставая ел тыквенные семечки.

Набиралась огромная гора шелухи к тому моменту, когда Максим был готов давать советы.

Конечно, это были советы не по делам о кровавых преступлениях (все-таки убийство Анжелики было, прямо скажем, не обыденным делом в Оглухине), а по мелким огордным и домашним кражам. Но зато, как правило, его предположения оказывались безошибочными.

Женя, хорошо запомнившая рассказ об этом кого-то из оглухинцев, верно оценила гору шелухи на столе напротив Максима.

— А ты, Максим, что обо всем этом думаешь?

Раскусив последнее семечко и сплюнув шелуху в тарелку, он начал неторопливо:

— Не обязательно убийцы.

Эти слова всех повергли в изумление. Тем более внимательная тишина воцарилась в комнате.

Люди Братства обладали редким в России свойством — умели слушать. Только Мячик, всегда восхищавшийся интеллектуальными способностями Максима, успел крикнуть:

— Класс!

— По описанию Горошины, человеку неожиданно пришлось очень спешить. То есть эта спешка застала человека врасплох. Но

сами подумайте — если человек пошел на убийство, и не в состоянии аффекта (а в какой аффект могла привести убийцу Анжелика?), то какой же расплож? Заранее ведь ясно, что после этого надо поскорей уносить ноги. И к первому встречному не будешь тыркаться с чудными какими-то просьбами, шифровать записки... Нет, что-то не стыкуется. У этих двух людей было свое какое-то дело. А тут убийство. Вот это для того, кого встретил Горошина, была неожиданность. Он сразу испугался, что заметут. А почему испугался-то? Да потому только, что он в этой деревне — человек новый, неизвестный. Зачем, спрашивается, приехал? Родных нет, знакомых тоже. Может быть, так. А может, еще горячее — может, он крутился по своим делам у дома тети Груши, и вдруг — вокруг дома полно милиции, ищут убийц. Ну, он и рванул. И своего подельщика — кому записка — не дождался. А вот почему этот второй человек и позже не появился?..

— Кажется, я знаю, — первый раз подал голос Ваня Бессонов.



ГЛАВА 30

СЛАВА-БАЙКЕР

Он просидел всю ночь в молчании. Но тут будто проснулся.

— Я от дядьки своего (он к нам в мае из Сибири приезжал) слышал, как в конце апреля вроде где-то у Каргаполья из Миасса утопленника выловили — с проломленной головой. И говорили, что от вас приплыл. Никто его не опознал. По документам — москвич. Может, это он и был? Сюда путь держал — должен был встретиться с подельщиком. И не знал даже, что тот слинял раньше.

Ну а насчет вопроса про Ялуторовск — у них, видно, был продуман запасной вариант, на всякий пожарный.

— Так ты думаешь, тут еще что-то подозрительное делалось?

— А почему бы и нет? «Иль у сокола крылья связаны, иль пути ему все заказаны?»

Ваня Бессонов знал не только Пушкина, но и Кольцова. А также Тютчева, Алексея Константиновича Толстого и многих других прекрасных русских поэтов. Без чтения их он так же не мыслил себе дня, как другие — без пристукивания ногой и раскачивания под звуки современных ритмов.

— Мы, по-моему, — продолжал Ваня, — слишком всё к одному делу притягиваем, потому что сами только о нем думаем. А ведь в это время жизнь-то шла, у разных людей разные дела были!

— И тоже преступные, — добавил его тезка, Ваня-опер.

— Ну да.

В это время Мячик, пыхтя, внес самовар, при этом ухитрившись носком кроссовки ловко прикрыть за собой дверь. Он еще полчаса назад понял (интуитивно), что чайни-

ками тут уже не обойдешься. И хотя Женя еще два часа назад объявила, что они прямо сейчас выезжают в Горный Алтай, — дальше информация о том злосчастном дне стала размножаться почкованием. Чуть не с каждой минутой она росла как снежный ком — при этом добавлялись новые и новые загадки. А так как разные виды варенья, старательно поглощаемого, на столе почему-то не убавлялись, а тоже прибавлялись, возникла надежда, что за чашкой свежесваренного (за этим следила Нита) горячего чаю появятся здоровые соображения.

Вдруг за раскрытым окном послышался рев мотора и грохот — и мгновенно стих.

— Славик! — воскликнула Нита.

— Славка-байкер, — подтвердил Мячик.

При слове «байкер» Саня и Леша, которые то выходили покурить, попинать ногой колеса и заглянуть еще раз под кузов, то входили и снова подсаживались поближе к малиновому варенью, переглянулись.

Байкеры были исконными врагами водителей. Они оказывались под левым, а то и под правым колесом машины в тот момент, когда их там никто не ожидал. И в следую-

щий же момент с ревом исчезали, чтобы привести в полубморочное состояние других водителей — или найти скорый бесславный конец на бескрайних дорогах России. Иначе как самоубийцами их водители не называли, в сугубо мужской компании прибавляя к этому слову крепкие эпитеты.

Дверь не приоткрылась, а распахнулась настежь. Не вошел, а будто влетел на мотоцикле черный кожаный человек.

Во всей невысокой, но крепко сбитой фигуре (ее обладателей в России издавна называют «крепышами») появившегося в комнате не было хотя бы крохотного кусочка, не обтянутого черной кожей. Только небритая нижняя часть лица под огромными черными очками, закрывавшими глаза, виски и лоб впритык к шлему, давала понять, что это живой человек с Земли, а не инопланетянин.

Витек покосился на вошедшего, и, как пишут в романах, тень прошла по его лицу: мотоциклы и мотоциклисты уже лет пять вызывали у него нечто вроде внутренней судороги.

Аппарат, на котором вошедший скорее прилетел, чем приехал, стоял за окном, всем

видный, — чешская «Ява», переделанная под «Харлея».

Два года назад Владислав сказал себе: «Если у меня не будет самолета, значит, у меня будет мотоцикл». Вложенные за эти два года в его мотоцикл деньги если не приближали его к стоимости небольшого двухместного самолета, то, пожалуй, дотягивали до ее половины.

Люди на мотоциклах делятся на две группы — байкеров и мотоциклистов. Мотоциклисты просто катаются или ездят по своим делам. Байкеры, как выразился однажды ближайший друг Владислава Игнат, «имеют свою тему». Они должны зарабатывать байкерским делом — чинить или переделывать мотоциклы, шить одежду для байкеров, участвовать в международных гонках и в международных байкерских фестивалях (очередной намечался в Санкт-Петербурге, куда вся западносибирская компания и собиралась своевременно рвануть).

Игнат выдвигал и такой тезис: «Настоящий байкер вообще не должен нигде работать — только кататься». А когда Владислав, только вступавший тогда в сообщество бай-

керов, спросил Игната: «А где же деньги-то брать? У предков, что ли? Так моим я, наоборот, помогать должен», Игнат ответил: «Существуют хорошие люди, которые нас спонсируют».

Владислав не знал имен этих людей и никогда их не видел. Он, конечно, продолжал все время подрабатывать и давал деньги родителям — он жил с ними вместе. Но Игнат и правда подкидывал ему не раз немалые деньги — на мотоцикл.

Но в их компании были люди, работавшие в офисах, — в том числе в представительствах иностранных фирм и банков. Всю неделю они ходят на службу, одетые с иголки, а вечером в пятницу натягивают кожу. Как сказала Владиславу его новая знакомая из фирмы «Марко-консалтинг»: «На субботу-воскресенье я превращаюсь в плохую девчонку». У них были свои клубы — в Шумихе, в Шадринске, в Кургане. Чужие туда не допускались.

Владислав снял шлем и очки и молча обошел комнату, с каждым здороваясь за руку. Пожимая руки людям, ему не знакомым, — Сане, Леше, Жене, Ване-оперу и Тому — не забывал представиться.

Нита, которая и позвала Владислава сюда, и единственная из всех знала, зачем он тут, взяла инициативу в свои руки.

— Слава, расскажи всем, что ты видел в марте у мостика. Здесь все свои, за дверь ничего не вынесут.

Ему освободили табурет. Слава уселся, оглядел всех.

— Ну, в общем, так. Часов десять вечера было. Я иду на скорости около 180. Вокруг, конечно, темнота полная, только дорогу перед собой освещаю фарой. И вдруг меня повело на мостике — подморозило к ночи, лед. Машина вправо пошла, чуть перила не сбил. А лед-то на реке уже подтаивал, я бы пробил его и сразу на дно ушел. Ну вот, когда я вправо пошел, то и фарой, ясное дело, шаркнул вправо — ну, как бы веером повел, пока машину не выправил. Ну, скорость-то в этот момент уже не та была. И я увидел... чудное что-то. Лежит на снегу вроде девушка, без шапки, блондинка. И лицо какое-то странное, в пятнах, что ли. А над ней стоят два типа, и один что-то совсем непонятное делает.

Владислав замолчал.

Все слушавшие не просто молчали — не дышали.

— И что же он делал? — с неожиданно суровой интонацией спросила Женя.

— Да фотографировал ее, вот что. Я сначала глазам не поверил, а когда уже пролетел — понял, что точно, фотографировал. Даже вспышка была. А тут я еще фарой помог.

Он еще помолчал и добавил с кривой улыбкой:

— В общем хороший, наверное, снимочек получился. Девушка-то мертвая была.

— Почему вы так думаете? — спросил Том.

— Да нога так была подвернута. У живых так не бывает. Второй на меня оглянулся — я его узнал.

Оглухинские хором воскликнули:

— Кто?

— А вот это, ребята, я пока не скажу — не хочу, чтоб меня до суда пришли. Суд-то, наверное, новый будет? Парень-то ваш зазря сел. Я вообще удивляюсь, что еще живой хожу, — тот-то меня скорей всего тоже узнал. Даже если в лицо не узнал — вычислил.

— По скорости, — сказал Ваня Бессонов.

— Ну да, — усмехнулся байкер. — И вроде не пасут меня. Правда, на моей скорости это только наши могли бы делать, другим не по зубам. А наших, значит, никого не купили.

Короче, вот когда уже вашего Олега освободят и ко второму суду дело пойдет — я, конечно, свои показания дам. Не сомневайтесь.

— А когда Олега судили — что ж ты молчал? — не выдержал Мячик.

— Да его тогда здесь не было, — вступилась Нита.

— Да, я на другой день на полтора месяца на Камчатку уезжал. Там у нас очень серьезный слет был, и потом всякие дела. Я не мог вместо этого с ментами полоскаться. Да я и знать не знал, что по этому делу Олега из Питера повезут. Я потом только узнал, что у мостика девушку раскопали.

— Слава, а тот, кого вы узнали, — местный? — спросила Женя.

— Местный. Ну, не оглухинский, но местный.

— Он продолжает жить на своем месте?

— Продолжает.

— Я могу сказать адвокату о том, что вы здесь рассказали? Может, для надзорной жалобы понадобится.

— Скажите.

— Но ведь доказательств вещественных, как я понимаю, нет? Так что все будет держаться только на вашем опознании. А вдруг опознанный упрется?

— Да есть, есть кое-какие *вещдоки*, — Слава впервые засмеялся. — Вы уж меня совсем за лоха держите. Утром проезжал я снова этот мостик, остановился ненадолго... Я все-таки понимал, что рано или поздно придется помочь правосудию.

Помолчал и добавил:

— Если допустить, что оно в России есть.

— А как мы вас найдем, когда надо будет?

— Нитка найдет, — коротко ответил байкер.

Попрощавшись, он круто повернулся, вышел, и, как показалось всем, в ту же самую секунду за окном взревел мотоцикл, встал на дыбы, как горячий степной необъезженный конь, и не выехал, а взлетел вместе со Славой с Мячикова двора непосредственно в поднебесье.



ГЛАВА 31

В МОСКВЕ. ВИКТОРИЯ

Собираться надо в клубе. Известном, привычном. Там все свои. И никто не привяжется с дурацкими вопросами, вроде того: «А ты в Геликон-опере давно была?», «А как вам последний спектакль Фоменко?»

Там даже слов таких не знают — и правильно!

Вот только зайди куда-нибудь *не в свое место* — и обязательно наткнешься на такого, кто начнет *выступать*. И нельзя ответить:

«А пошли вы куда подальше со своей Геликон-оперой!»

Ведь в тех местах всегда кто-то знает, чья она дочка. И уверен (а почему, спрашивается?), что дочка Игоря Заводилова должна целыми днями читать всяких поэтов, или шататься по вернисажам, или помогать каким-то сопливым детям! Как будто она бомжа какая-нибудь!

В такие минуты она, пожалуй, ненавидела — да, именно ненавидела — своего многими людьми уважаемого отца. И даже так — чем больше его уважали, тем больше ненавидела.

Ей самой никакого уважения ни от кого не требовалось. Пожалуй, она и не знала толком, что это такое. Если бы Виктория смогла задуматься над тем, чего она сама хочет, то, наверно, пришла бы к такой мысли: ей вполне хватило б, чтобы ее боялись.

В ее клубах тоже знают, что она дочка Заводилова. Но там знают про него именно то, что надо знать, — какой примерно у него пакет таких акций, а какой — этаких. И точка.

Виктория сидела в ночном клубе со своим в последние месяцы постоянным спутни-

ком — Толей Собениным, папиным юристом. Ему было двадцать пять лет, а ей пятнадцать, но разницы в возрасте она не чувствовала. Да и в чем могла сказываться эта разница? Для того чтобы ее почувствовать, надо вести разговоры на разные темы. Тогда обнаруживаются различия — жизненного опыта, образования, знаний, всяких впечатлений — ну, например, от живописи: кому-то нравится Малевич, а другому подавай только Шилова. Что касается Виктории, то вряд ли она даже сумела бы ответить хотя бы приблизительно на вопрос: а что это такое — *живопись*?

Если уж начать стремиться к точности — у них с Анатолием *вообще* не было почти никаких разговоров.

Даже если бы они и задумали о чем-нибудь поговорить, то музыка — правильное, музыкальный грохот, — в тех местах, где они бывали, достигал обычно такой силы, что человеческая речь пробиться сквозь него просто не могла. Тогда уж надо мегафон с собой таскать, из какого с капитанского мостика приказы отдают.

Виктория с Толей уютно сидели, обсуждали меню — здесь они были наравне, ника-

кой разницы в возрасте не чувствовалось; потом ели, тянули коктейль через соломинку, курили травку — умеренно (Виктория не любила ни в чем перебирать), вставали, двигались под музыку вместе с другими, смотрели стриптиз, слушали группу «Ленинград», раскачиваясь под голос Сергея Шнурова:

*Мне бы в небо, в небо, в небо,
Здесь я был, а там я не был!
Путевка в небо выдается очень быстро —
Вышел на улицу — случайный выстрел!*

*Можно ждать его, а можно ускориться —
Я бухаю, а кто-то колется!*

Виктория выкрикивала: «Ес!» или «Класс!», смеялись, постепенно немного пьянели (пьянеть по-настоящему Виктория не хотела и спутникам не позволяла), потом она расплачивалась, Толя провожал ее домой. Иногда происходили маленькие ЧП — тогда приходилось задерживаться. Недавно, когда Виктория уже уходила, кто-то из новых нагрубил одному качку — и пришлось за-

держаться, посмотреть, как его бьют ногами по голове, пока охранники не остановили это дело. Это было прикольно!

Она приходила домой за полночь, падала на постель, засыпала, утром шла в школу. Придя, делала один урок из пяти — под звуки своих любимых групп и бесконечные звонки по мобильнику. Потом за ней приезжали, она ехала в ночной клуб. И так почти каждый день. С матерью и с отцом она виделась редко, мельком — квартира большая, все трое могли быть дома весь день и ни разу не встретиться.

Вот в феврале и марте этого года они с Анатолием действительно говорили много, подолгу.

Когда он сказал ей про папино завещание — под строгим секретом, конечно, — ее прямо током тряхануло.

Вот это дела!

— Ну, папочка, ну, козел!

Значит, третью часть наследства получит неизвестно откуда взявшаяся деревенская бомжа! Да еще идиот-папочка уверен, что она — его дочь!

— Башкой надо думать!..

Виктория-то побольше его знает, как такие дела обделываются: как у богатенького буратины р-раз — следите за моими руками! — и появляется взрослая дочка.

Виктория ночи не спала, злобно рисуя картинки, как две эти шлюхи — дочери-матери! — шантажировали ее отца насчет завещания. (В том, что это задумано было давно, еще при жизни Анжеликиной матери, она не сомневалась.)

Матери она говорить не стала — давно привыкла решать все проблемы сама. И решение пришло быстро. Никаких половинчатых мер Виктория не понимала. Чем сложнее, болезненнее проблема, тем радикальнее ее надо решать — так, чтобы второй раз она уже не возникла.

В детстве, играя иногда на ковре в отцовском кабинете (такое бывало редко, но все-таки бывало), она вполуха слышала те твердые, жесткие слова, которые папа произносил по телефону:

— Все! Я сказал — все! С этим человеком надо решить один раз — но так, чтобы он больше не возникал! Да-да, ты меня понял правильно! *Физически* не возникал!

Слова, оставаясь непонятными, запомнились. Ворочались, обкатываясь в детском умишке. Решительная отцовская интонация переливалась в какие-то свойства вылепляющегося характера. И когда сам Игорь Заводилов в последние пять лет претерпел существенную эволюцию, заметно изменился, люди перестали быть для него той глиной, которую он мял, как хотел (стоит уточнить, что на убийство, несмотря на всю свою жесткость, все-таки ни разу не пошел, хотя и подходил близко), — он увидел, что характер его дочери к этому моменту застыл, как алебастр. Размочить и придать ему другую форму было уже нельзя — только разбить.

Ее воспитанием никто не занимался — она стала воспитывать себя сама, по своему разумению. Создала себе образец — и стала ему следовать.

Она стала такой же решительной, как ее отец в тридцать лет, но только гораздо более безжалостной.

Смело можно сказать, что она даже не знала, что это такое — жалость. Как будто там, где она помещается у людей, особенно у женщин, у юной Виктории образовалось —

не сразу, годам к тринадцати — пустое место. При ней мальчишки жгли котенка — она смотрела спокойно. На кошек и собак, раздавленных на трассах, никак не реагировала (а в раннем детстве — плакала). Вот со своей рептилией ярко-изумрудного цвета — гекконом токки, который весь день дожидался ее, сидя на стекле террариума, и которого боялась ее мать с тех пор, как тот тяпнул ее за палец, — возилась с удовольствием. Любила его? Нет, сказать так было бы неверно. Это была *ее* собственность, купленная за деньги. И именно поэтому, а не из любви или жалости, Виктория отбила бы руки любому, кто причинил бы этому геккону какой-то вред.

С Анжеликой все прошло как по маслу. Трудно было узнать адрес, но и это оказалось решаемо.

Менеджером тут был, конечно, Анатолий — он знал все правила безопасности, она была в нем уверена. Вернее — уверена в отце: он лопуха держать бы не стал. Правда, тот нарушил тайну завещания — и Виктория догадывалась, почему: он сам имел виды на нее, а значит, и на наследство. Но тут она Анатолия понимала — его поведение было

логично и к тому же оказалось полезным для нее.

Следует уточнить — Анатолий идею Виктории с самого начала не поддерживал и, надо думать, ругал себя, что сказал ей про завещание. Ему просто не пришло в голову, что у юного создания родится в голове такой именно план, — он рассчитывал, что они с ней найдут какой-то бескровный способ спасения трети наследства.

Он пробовал отговорить Викторию.

Как юрист, он объяснял ей, что после гибели Анжелики в распоряжении отца будут разные варианты изменения завещания — и никто не доказал, что оно будет изменено именно в пользу Виктории. Если же представить себе, что отец ее погибнет вслед за Анжеликой, не успев изменить завещания (почему бы и нет? Ведь все, что заварилось вокруг завещания, имело в виду, само собой ясно, только ситуацию в случае его смерти; не собирался же он кого-то предупреждать о том, когда именно она последует!), третья часть его состояния перейдет отнюдь не к Виктории и ее матери, а к правопреемникам Анжелики.

— И кто же это такие? — надменно спрашивала Виктория.

— Да кто угодно! Наследники часто обнаруживаются только после смерти человека. Да одна наследница и сейчас налицо — тетушка, которая ее растила.

Но оказалось, что вбитое Викторией в свою головку уже никем и ничем не может быть оттуда выбито. Что-то тут было помимо трезвого расчета. Анатолий был еще молод, чтобы уметь заглядывать в темные бездны души — даже если это душа совсем юной женщины.

Не преуспев в отговаривании Виктории от ее плана, Анатолий мог, конечно, отказать ей в помощи по его реализации. На это у него не хватило духу — или моральной крепости. Ведь когда говорят про кого-то: «у него не было выхода» — это, к сожалению, нередко значит совсем другое: «у него не хватило духу упустить свою возможную выгоду».

Впрочем, выгода в этом случае определялась не так-то просто. Анатолий, видимо, не упустил из виду и тот вариант, что, действуя без него (а что Виктория будет действовать, ему быстро стало очевидно), она скорее

провалит дело, чем с ним. И тогда при расследовании неминуемо с ее же слов (тут он иллюзий не питал) выяснится, что он, юрист, знал о подготовке преступления. Знал — и не сообщил об этом куда следует. К тому же он так и так уже являлся *пособником* — поскольку предоставил информацию, содействовавшую если не совершению преступления, то возникновению самого его умысла. По крайней мере, так подаст это сама Виктория (и здесь он также не питал иллюзий) — если он откажет ей в помощи. И тогда при хорошем сотрудничестве прокурора и адвоката Виктории (а в том, что защищать ее после провала будет первоклассный адвокат, он не сомневался), ему намотают срок даже и в том случае, если он с этой минуты полностью устранился от затеянного Викторией.

И он решил не устраниваться.

Машина закрутилась. Основную работу Виктория взяла на себя — и оказалась на удивление Анатолию умелой и эффективной.

Она гордилась своей умелостью. Не обошлось, конечно, без сложностей, не все

катилось как по маслу — или как в кино. Из тех двух, с которыми договорились, один оказался очень нежным и стал ломаться насчет ее условия про лицо и фотографию. Но и этот вопрос Виктория, конечно, решила. Когда есть деньги, круг нерешаемых проблем вообще резко сужается.

А деньги у нее были — она умела откладывать. Вкус к этому у нее появился рано — в восемь лет. Тогда папа первый раз подарил ей на день рождения, помимо говорящей испанской куклы, сто долларов. А мама — копилку в виде Винни-Пуха. Туда и попали эти доллары.

Через год Виктория взяла себе за правило — откладывать ровно половину из любой попавшей в ее еще детские ручки суммы. За семь дней рождения и разных случаев (последние годы она нередко просила у отца деньги — и он давал, не всегда спрашивая, на что именно она их просит) получилась внушительная сумма. Значительную часть сейчас пришлось потратить — ради того, чтобы сохранить гораздо более значительную. Как-то к случаю отец ей очень хорошо все объяснил про «упущенную выгоду».

После того как все было сделано, и по получении фотографии (вернее, негатива), а также после известия из Оглухина, что тело найдено, деньги — выплачены, Виктория почти перестала тревожиться.

В лицо она Анжелику, конечно, не знала, поэтому, хотя фото оказалось очень убедительным, полной уверенности до известия об обнаружении тела у нее быть не могло. И фотография-то ей нужна была совсем не для подтверждения. Тяжело сообщать эти подробности читателю, но таковы факты. Накал ненависти Виктории к непрощенной сестре достигал такой отметки, что она за свои деньги потребовала: Анжелика должна быть изуродована, и желательно — еще живой.

Выполнили ли наемные убийцы пожелание насчет живой — неизвестно, но в гробу лицо Анжелики пришлось прикрыть легкой кисеей: заgrimировать ожоги оказалось трудно.

Потом Виктория спокойно ждала суда. Что ее людей не найдут, она была уверена, а это было главное. И тут еще так подвезло с этим студентом из Петербурга. Вовремя его

туда занесло! И эта записка дурацкая. Виктория внимательно следила за ходом расследования и, скажем так, спонсировала его. Она знала — денег на хорошего адвоката у парня нет, а государственный за свою зарплату до сути не докопается, тем более подозреваемый, а потом и обвиняемый налицо — вот он, и мотив при нем, и вещдок при нем. За месяц разговоров с Анатолием Виктория поднаторела в юридической терминологии.

Словом, она спокойно ждала — еще немного, и все будет кончено. Анжелику (и имя-то какое дурацкое) похоронят, парень надолго уедет туда, куда, как известно, Макар телят не гонял. Тем более этому, как доносила ей разведка (служба информации у Виктории была налажена прекрасно), усердно способствует ее папочка. Он ходил весь черный и только и думал, как поскорей законопатить убийцу его, видите ли, *дочери*. Мамочка, конечно, знать ничего не знала, пропадая в фитнес-центрах со своими подругами. А Виктория-то, между прочим, решала и ее проблему! Половина-то немаленького наследства все-таки больше, чем треть? Но, конечно, никакого виду матери

она не подавала, жила своей обычной жизнью.

Сумарокову (Виктория не сразу запомнила фамилию Олега — о существовании русского поэта и драматурга XVIII века Сумарокова она ведь не подозревала) дали пожизненное. Все было нормально. Не то что раскаяния или уколов совести — она вообще ничего, кроме чего-то похожего на приятную усталость, не чувствовала. Анжелика мешала Виктории получить после смерти отца причитающиеся ей по праву деньги полностью — значит, ее надо было убрать. Слова «убить» Виктория и в мыслях своих не произносила: в ее среде говорили «убрать» — как убирают с дороги мусор или что-то мешающее проезду. И она говорила так же.

Отпечаток с выразительного негатива она сделала совсем недавно, уже когда все закончилось, — конечно, по секрету от Анатолия. Он бы с ума сошел, если б узнал, что она пошла с этим негативом в ателье. А у нее там знакомый, она наплела ему, что подруга погибла в Сибири в автокатастрофе — и все дела. И негатив сразу отдала Анатолию, он про него давно ныл. Он тут же у нее на глазах его

сжег. А отпечаток она, рассмотрев получше, — безо всяких эмоций (разве что бесспорное сходство мертвой девушки с отцом Викторией резко царапнуло где-то внутри, возле сердца), как большинство людей рассматривает в газетах фотографии всяких катастроф, каждый день происходящих где-нибудь в мире, — тоже уничтожила. Хранить его она и не собиралась.

Последнее время об Анжелике Виктория почти не вспоминала. О незнакомом ей Олеге она тем более не думала. И очень удивилась бы, если бы ей стали доказывать, что она должна сочувствовать невинному человеку, чья жизнь из-за нее — и, конечно, из-за неряшливости и продажности судебных органов, — погублена навсегда.

Виктория давно и твердо знала то, что сама ни в коем случае не сумела бы сформулировать — в ее распоряжении не было соответствующего языка. А если бы умела, то, наверное, ее взгляд на мир выглядел бы примерно вот так.

Так есть — и так должно быть дальше: одним — двигаться по дороге, другим — освободить ее для их движения на полной скорости.

сти; у одних есть деньги — у других нет и не будет; одни — в ночных клубах и казино, другие — в вонючих общежитиях, в коммуналках или в колониях строгого режима — что, по существу, одно и то же.

На ее же языке это звучало гораздо короче:
— Без лоха и жизнь плоха!

Когда все действительно закончилось, об этом именно она как-то разговорилась с Анатолием.

— Что — ему в его деревне лучше, что ли, было?

— Да он вообще-то студент — в Петербурге учится. Учился, вернее, — поправился Анатолий.

— Студент! Ну, получил бы диплом — и что? Бомжом был, бомжом остался! Лохи и рождены, чтоб их кидали!

Анатолий незаметно поежился, но возражать не стал.

Мировоззрение, если можно здесь употребить это слово, юной Виктории было гораздо более цельным, чем его собственное.



ГЛАВА 32

В МОСКВЕ. ФУРСИК

Кто думает, что все это время Фурсик в Москве занимался только выполнением своего личного проекта (с которым мы имели честь познакомить читателя еще в первых главах), тот ошибается.

Он умел организовывать свое время и вести несколько тем одновременно. Конечно, каждый день он уделял не менее часа упорной работе по превращению жителей и гос-

тей столицы в людей вменяемых, цивилизованных и добросердечно относящихся друг к другу.

Он занимался, можно сказать, окультуриванием диких растений.

Ему известна была русская поговорка «Один в поле не воин». Но в этом вопросе Ферапонт Тимофеевич Семибратов, среди друзей для простоты именуемый Фурсиком, русский из русских, со своим народом расходился. Он свято верил — «и один в поле воин». В чем мы с ним полностью соглашаемся.

Потому что, в общем-то, ведь любому ясно и совершенно очевидно — если каждый, не боясь, будет выходить в поле один, чтобы сделать что-то хорошее, то в поле очень быстро наберется огромное воинство (потому что Россия — очень большая и многолюдная страна), готовое к добрым делам, и тогда *все у нас получится*.

Вот, например, в последние годы в московском метро завелась такая *национальная русская забава*. Разопьют юноши с барышнями бутылку пива, сойдут на своей станции, а бутылку оставят в вагоне. Вагончик тро-

нется — и бутылочка начинает по нему кататься. Все за ней следят — одни с радостью, другие с неудовольствием. И так суждено ей кататься до второго часа ночи, пока состав не загонят в депо и не начнут уборку. На взгляд Фурсика, что-то необъяснимо противное было в том, как все сидят и тупо следят, как бутылка катается. А потом — ведь все время объявляют, что метро — зона повышенной опасности. Кто-то может в толкучке, когда все с работы едут, наступить на эту бутылку, поскользнуться. И тогда Фурсик стал каждую замеченную бутылку на глазах у публики выносить — и тут же у двери ставить на платформу. Почему у двери? А чтоб все успели увидеть, что он не с собой берет бутылку — для продажи, а именно и исключительно освобождает от нее вагон.

Фурсик делал это уже три недели и полагал, что, раз его пример прокатился по многим поездкам и круг очевидцев уже достаточно велик, скоро количество должно перейти в качество. По его сложным расчетам, через месяц и еще неделю примерно два процента пассажиров должны начать следовать его примеру — такому легкому для под-

ражания. А через год это действие станет привычным для многих. А там, глядишь, половина из тех, кто оставляет бутылки в вагонах, перестанет так делать. Фурсик смотрел на жизнь реально и поэтому понимал, что вторая половина из оставляющих будет так вести себя *всегда*. Будет выходить из метро, не думая о том, кого резко отброшенная ими стеклянная дверь ударит со всей силы за их спиной, и мочиться, извините, в лифте своего же дома.

...Итак, одну из подтем своего проекта Фурсик назвал «Написанному – верь!» И последние два дня расклеивал только одну листовку.

Она гласила: «Здесь действительно нет входа».

Он лепил ее на дверях, на которых было написано «Нет входа», но все равно люди ломались в эти двери (хотя слово «Вход» было написано на двери рядом), натываясь на тех, кто входил в эти же двери изнутри, потому что внутри-то и было написано – «Выход».

Фурсик не мог понять – почему люди так делают? Объяснение было, но по молодости лет он его не знал.

Теперь уж мало кто помнит, а из людей его возраста так и почти никто, что долгие десятилетия в России была власть, которую почему-то называли «советской», хотя хилые выборные органы (а *выбирали* в них из одного кандидата; мы говорим вам правду, дорогие читатели, и нисколько не шутим) под названием «Советы», будь это Верховный совет, как бы верховодивший всей страной, или сельский совет, верховодивший селом, никакой реальной власти на самом деле не имели. Они сами подчинялись секретарям *партии* (она была тоже одна, поэтому ее называли обычно просто «партия», даже не прибавляя «коммунистическая»), от генерального секретаря до секретаря *райкома* или *горкома*. Эти секретари никем не выбирались, а назначались.

Так вот, в это *советское* время всё вокруг, включая стены самых высоких зданий и даже неприступные скалы на Кавказе, было уклеено и расписано всякими надписями, типа «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства», «Партия — ум, честь и совесть на-

шей эпохи...» или чего-то еще. Если все это каждый день читать и во все это вдумываться, к концу рабочей недели можно было за просто соскочить или, говоря проще, свихнуться и загреметь в психушку (что, говорят, и случилось — и, уже находясь в буйном отделении, привязанный к койке, человек продолжал выкрикивать лозунги).

Тогда сработал могущественный инстинкт самосохранения, и люди перестали реагировать и на лозунги, и на любую надпись, к ним обращенную, за исключением объявлений о пропавших животных.

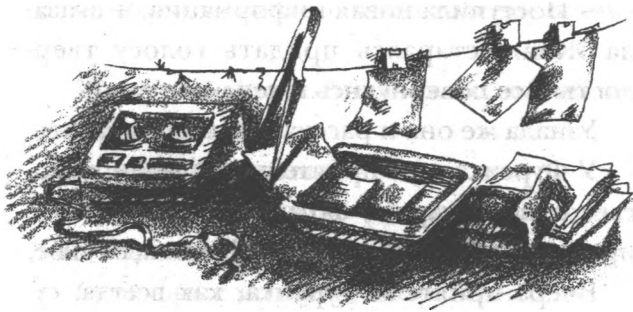
И это докатилось до того времени, когда советская власть в течение трех августовских дней кончилась (как когда-то началась в течение трех дней октябрьских), или, как еще говорят, накрылась медным тазом, и лозунги сменились *рекламой*. Она была гораздо больше по делу, и сначала читать было интересно. Но быстро надоело. И люди опять перестали читать все, что пишется вокруг них.

А между тем среди надписей — особенно в транспорте — были и вполне полезные. Вот к ним-то и стремился Фурсик вернуть внимание людей, помогая, в сущности, властям

родного города, хотя они его об этом и не просили.

Женя несколько раз в течение этих нескольких суток звонила ему по мобильному телефону. Они обменивались информацией. И на третий день он сообщил ей поразительную новость.





ГЛАВА 33

СНОВА В ОГЛУХИНЕ

Когда Славин мотоцикл встал во дворе на дыбы и умчался в небеса, а все сидевшие в доме Мячика заворуженно следили его полет, уставившись в окно, Женя выскользнула за дверь, чтобы позвонить с улицы в Москву Фурсику.

Вернулась она ошарашенная. Села за стол, подперла, как взрослая женщина, золотистую голову рукой и сидела молча. И все, кто были в доме, молчали тоже, испуганно ожидая новых ужасов.

– Поступила новая информация, – сказала Женя, стараясь придать голосу твердость. Все повернулись к ней.

Узнала же она и рассказала следующее.

У Фурсика есть приятель, он летом помогает одному парню, фотографу – возится с проявителем, сушит фотографии и все такое.

Вчера приятель Фурсика, как всегда, сушил только что напечатанные фотографии и увидел среди них одну очень страшную: лицо девушки с закрытыми глазами – все в каких-то страшных пятнах, как будто прижигали сигаретами... Фурсик, конечно, знал от Жени некоторые подробности того, что произошло несколько месяцев назад в Оглухине. И хотя он и понимал, что Оглухино очень далеко от Москвы, все же с ходу убедил приятеля сделать очень для того трудную и очень рискованную вещь – найти негатив и сделать самому, без хозяина, еще один отпечаток. Тот делал такое первый раз – но все же сумел, и его не застукали.

– Негатив был чей – хозяина? – спросил Ваня Грязнов.

– Нет. Заказчика. Ну вот, сегодня рано утром приятель притащил отпечаток Фур-

сику. Фурсик сличил с тем, что я ему оставила.

Женя помолчала. Видно было, что ей трудно говорить.

— Это — Анжелика.

Нита закрыла лицо руками и заплакала. Она хорошо знала Анжелику.

Остальные молчали, потрясенные.

Первым очнулся Том.

— Кто заказчик? — сурово спросил он.

— Через полтора часа Фурсик будет знать. Я ему позвоню. А пока надо, пожалуй, звонить адвокату, Артему Ильичу Сретенскому, он теперь в Омске живет, — обрисовать ему все, что мы накопили, и советоваться, как теперь быть — ехать к нему, а потом за Федей или тут сидеть, дальше копать. Если честно, у меня голова кругом идет, — призналась Женя.

— Это у Мячика тут аура такая, — сказал Ваня Бессонов. — Тут у него «мельница вприсядку пляшет и крыльями трещит и машет». Еще посидим — не таких ужасов накопаяем.

Как обычно, Ваня цитировал к случаю «Евгения Онегина».



ГЛАВА 34

И ОПЯТЬ В МОСКВЕ

В этот вечер Виктория возвращалась домой не глубокой ночью, а несколько раньше.

С Анатолием она простилась у подъезда — оба не хотели, чтобы отец знал, как много времени они проводят вместе. Оба не сомневались, что ему это не понравится. Сама же Виктория, зная намерения Анатолия, оставляла за собой свободу действий — выбрать мужа дело очень непростое, и здесь она ошибки ни в коем случае не совершит.

Анатолий давал ей ценные советы — понимать-то она это понимала, да не всегда им

следовала. Он, например, просил и просто умолял ее не оставлять себе те кольца, которые по ее требованию сняли с пальцев Анжелики и привезли в Москву. С ожерельем, про которое ей было известно, она нашла в себе твердость поступить разумно — когда его отыскивали в ту ночь в комнате Анжелики, оно оставлено было, в соответствии с заранее обдуманном планом, в Оглухине. Удалось найти человека, который переложил его в комнату Олега. Ожерелье фигурировало потом на суде как присвоенное Олегом после убийства.

— Зачем они тебе? У тебя мало колец? — вопрошал Анатолий Викторю. В таком волнении она его до сих пор не видела. — Выброси их, да подальше. А лучше всего отдай мне — я выброшу так, чтобы они не оказались неожиданно на столе у следователя.

— Ты чего, Анатолий? Какого следователя? — смеялась Виктория. — Следствие давно закончено, приговор вынесен, кассация прошла, приговор начали исполнять...

— Терминологию ты освоила, но откуда у тебя такая уверенность, что убийц не найдут?

— Этот отморозок находится сейчас там, куда за пятнадцать лет ничья нога не ступала! Никто его не найдет, кончай грузить себя и меня!

— А второй? Придет с повинной, все расскажет...

— Он своего подельника больше, чем суда, боится — знает, что тот его в любой тюрьме достанет. Кончай вообще, Анатолий, расслабься!

— Ну кольца-то отдай мне все-таки...

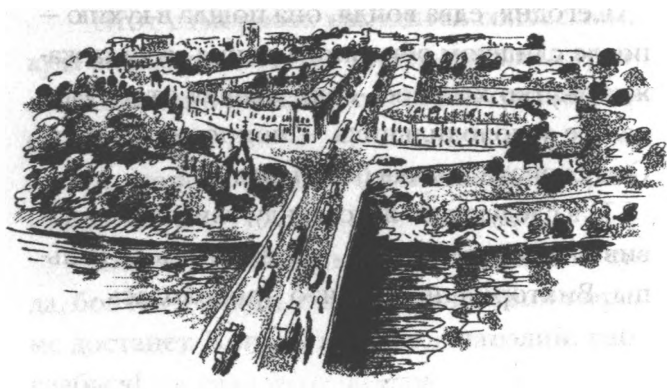
В результате она все-таки отдала ему кольца — почти все они были ерундовые, полная дешевка. Только одно — необычной формы, с крупной, зеленоватой с черными прожилками бирюзой, причем прожилки природа расположила так, что они напоминали улыбающуюся рожицу, — она оставила себе: оно ей безумно понравилось.

— Сумасшедшая! Ты же погубишь себя! — кричал Анатолий.

Она клятвенно обещала надевать его только в клубы, где никто и никогда, уж за это можно ручаться, не видел его на руках Анжелики, и всегда снимать перед отчим домом.

Сегодня, едва войдя, она пошла в кухню — после слишком обильного ужина мучила жажда, жутко хотелось соку. Вышел отец. Увидел ее у холодильника — попросил налить. Она сначала подала бокал ему.

И в следующую же секунду, увидев остановившийся взгляд отца, упершийся в ее пальцы, Виктория поняла, что прокололась.



ГЛАВА 35

АДВОКАТ

Омск не был родным городом Артема Ильича Сретенского, еще молодого, но очень способного адвоката.

Когда был жив отец, они жили в Москве.

Отец Артема был известным в своей среде теоретиком уголовного права. Восемнадцатилетним ушел он на войну. В их Сокольническом районе призвали одновременно триста московских мальчиков 1925 года рождения. Они два месяца учились под Моск-

вой на младших лейтенантов, потом долго вместе ехали в теплушках, добираясь до фронта, чтобы стать там командирами взводов («Ванька-взводный» — с не очень понятной Артему горечью называл себя отец, изредка вспоминая войну). За это время все они узнали друг друга по имени. С войны из трехсот мальчиков в свои московские дома живыми вернулись трое.

Когда через несколько десятилетий после конца войны правители страны догадались наконец установить 9 мая *минуту молчания*, Артем, хоть и был тогда маленький, хорошо помнил, как отец садился перед телевизором один, смотрел на бьющееся на ветру пламя вечного огня, и слезы текли по его лицу. Однажды Артемка спросил: «Папа, почему ты плачешь?» Отец ответил: «Я вспоминаю, сынок, всех своих погибших ребят — поименно».

Илью Сретенского два раза жестоко ранило. Пулю из бедра в госпитале в Польше извлечь так и не смогли. Наркоза не хватало, рассказывал отец. Дали полстакана водки и держали вшестером. Не вынули. Так с этой пулей сорок лет спустя отец и умер.

Это было в 1983 году, Артему было четырнадцать. Как стало ясно много позже, отец успел передать сыну понимание самого существенного в своей профессии, хотя самому ему она принесла очень много горечи. Через несколько лет после смерти отца, уже при Горбачеве, когда многие вздохнули и языки развязались, бабушка, которая так и не смогла оправиться после скоропостижной смерти первенца в молодом, она полагала, возрасте, в 58 лет, — рассказывала, как, служа в поверженной Германии председателем военного трибунала в нашей оккупационной армии, Илья приехал в свой первый отпуск. «Мама, — шептал он ей, не доверяя уже и стенам в родном доме, — я ничего не понимаю! Ведь у нас тайное голосование! Как же я сужу солдат за антисоветские надписи на бюллетенях?! Мне их приносят следователи — с именами *голосовавших!* И я должен давать восемнадцатилетним солдатам по 25 лет!»

Эти два года — 1951-й и 1952-й — навсегда отвратили прошедшего войну молодого советского офицера от советской власти. И никогда уже больше он к ней не повернулся. Тогда, говорила бабушка, он горько жа-

лел, что стал юристом при этой власти. И много лет спустя всячески предостерегал сына от наследственного выбора.

И Артем действительно, памятуя этот завет, никогда бы не пошел на юрфак. Но тут, через два всего года после смерти отца, пришел Горбачев, и стало на глазах светлеть и развидняться. Теперь Артем вспоминал уже то светлое, что связалось у него с отцовской профессией.

Когда Илья Сретенский стал судьей трибунала в московском гарнизоне, то перед первым же его процессом, когда под судом оказались четырнадцать офицеров, командующий московским гарнизоном до суда разослал по всем подразделениям приказ об обсуждении приговора — в назидательно-воспитательных целях. Он предрешил, таким образом, обвинительный приговор. А отец Артема, изучив материалы, пришел к уверенности, что офицеры невиновны! Только одному можно дать год условно.

Бледный, пришел он к матери накануне суда.

— Мама, не знаю, что со мной будет завтра. Может, сразу после суда и заберут. А при-

говор тот все равно отменяют — у нас ведь оправдательных приговоров почти не бывает. Но я ничего не могу сделать: по закону я должен их оправдать.

В конце заседания председатель военного трибунала огласил приговор. Слушали его, как положено, стоя, почти час. В конце каждую фразу, начинавшуюся фамилией подсудимого, Сретенский заканчивал словами: «освободить из-под стражи немедленно, в зале суда».

Он рассказывал потом матери, какие рыдания слышались в зале — жены и матери не надеялись ни минуты, что вернутся с близкими домой. Время было жесткое, на справедливость рассчитывать особенно не приходилось, осудить могли и для острастки другим. Суд кончился, и когда отец пошел по коридору из судейской комнаты, седой майор, обнажив голову, встал перед ним на колени.

— Встаньте, не делайте этого, — резко сказал Илья Сретенский. — Вам не за что меня благодарить — я только следовал закону.

...Сколько раз вспоминал Артем отца в эту весну, когда, несмотря на все его старания, отправили навсегда за решетку невин-

ного — он был в этом уверен — человека. И сейчас он нередко вспоминал о судьбе парня, надеясь иногда на чудо — обнаружение новых обстоятельств по закрытому делу.

Тогда он жил в районном городке Курганской области и был приглашен защищать Сумарокова; нанять своего адвоката тот возможности не имел.

В Омске Артем Сретенский жил меньше месяца. Ходил по городу, изучал. Две эпохи безмолвно схлестывались то здесь, то там. Было много реставрированных желтеньких губернских зданий; также отреставрированная, а может быть, и восстановленная из руин краснокирпичная церковь горела неестественно даже огромными, сияющими золотом маковками. Проспект 70-летия Октября — то есть семидесятилетнего наступления на эти маковки и на следы российской губернской провинции — шел через весь город. Странно выглядела и новехонькая часовня посреди площади Ленина, неутомимого борца с религией. А в другом месте стоял Ленин в непривычно безыскусственной для его монументов позе, с небрежно наброшенным едва ли не на одно плечо пальто. Рядом,

только что не над его головой, высилась огромная реклама: «Улица Ленина 18 Sale» — прямое доказательство того, что огромные усилия вождя победить рынок и распределять продукты в конечном счете «каждому по потребностям» в историческом масштабе победой не увенчались. Только стиснули страну крепким обручем на семьдесят с лишним лет, притормозив едва ли не навсегда, как казалось Артему Сретенскому в часы пессимизма. Все обогнали в течение XX века его страну, которая в 1910-е годы была по удельному весу промышленного продукта в мировом обороте на пятом месте в мире!

Он прошелся однажды по аллее имени Н. К. Рериха, не зная толком, имел ли этот неплохой художник и странный мыслитель какое-либо отношение к Омску, и, обогнув небольшой парк, вышел к еще одному памятнику: женщина, правой рукой вздымая знамя, левой поддерживала перегибающегося через ее руку назад смертельно раненого. Памятник был на месте здесь, где ученый, путешественник и адмирал Колчак стал Верховным правителем Сибири прежде, чем был выдан и расстрелян, где омские степи

залиты были кровью и белых, и красных. И впервые на таком памятнике (он явно был сделан на заре советской жизни — потом борцам за эту жизнь погибать уже не полагалось) Сретенский-младший увидел точную надпись: «Безумству храбрых поем мы песню. М. Горький».

У Горького эта строка продолжалась — «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», но мудрость-то, Сретенский давно уже понял это, была бы именно в том, чтобы оборвать на первой строке. Да, всегда будет нас волновать, а то и восхищать безумство храбрых. Можно слагать о нем песни, но только нельзя ни в коем случае искать в безумстве — мудрости.

Сегодняшний звонок из памятной Артему деревни Оглухино привел его в то состояние, которое он особенно любил, — готовности к борьбе и надежды на победу.



ГЛАВА 36-я,

ПОСЛЕДНЯЯ, НО НЕ ЗАВЕРШАЮЩАЯ

Обогнув Курган, они двигались в направлении Тюмени. Именно в направлении, потому что Леша и Саня коротко пояснили Жене, что до самой Тюмени они не доедут — у Ялуторовска (Жене очень понравилось это название, она про себя его повторяла) свернут на юго-восток к Омску.

Они делали немалый крюк — километров 500, если не больше. Конечно, короче было ехать через Петропавловск — от Щучьего и Шумихи через Курган, держась на юго-восток (Женя любила ориентироваться по странам света — следя по карте за направлением; карта же — как и компас — в любом путешествии у нее всегда была с собой). Пятнадцать лет назад только так бы и поехали. Но теперь Петропавловск — это другая страна, Казахстан. Пересекать ее значило проезжать две таможни. А какая там очередь — никто не знает. И хотя в черной «Волге» не было ни оружия, ни боеприпасов, ни наркотиков, Леша и Саня хорошо знали, что такое таможенники на всем бывшем советском пространстве и как отличается их скромная зарплата от их реального заработка. Потому и выбрали кружной путь.

Теперь в машине на заднем сиденье, кроме Жени, ехали посередине — Том и у правого окна — Мячик. Его, не знавшего, кажется, ни минуты покоя, в машине, как маленького, тут же сморил сон. Том не отрывал глаз от все время меняющейся впереди картины. Он молчал. Ему всегда было о чем подумать.

А Женя загрустила — впервые за путешествие она почувствовала, что соскучилась по родителям. Еще она думала о бабушке и дедушке, которые уехали на целых полтора месяца отдыхать в Евпаторию: отдых там был, по их сведениям, дешевый. Бабушка объявила, что не была в этом городе с четырех лет и давным-давно задумала поездку. А дедушка, прекрасный пловец, озабочен был лишь одним — не слишком ли мелкое прибрежное море на известном детском курорте и не придется ли долго брести по воде до того места, где можно наконец нырнуть. Но он уже звонил в Москву и радостно сообщил Жене, с которой у него были одни ныряльные вкусы, что все в порядке и что ему не хватает здесь для полного счастья только ее.

И правда — почему она с ними не поехала?.. Море, пляж, ярко-голубое небо, дальние заплывы с дедушкой... Она никогда не видела Евпаторию, но очень ясно представляла себе черноморский город по бабушкиным рассказам.

...И Женя стала вспоминать бабушкин рассказ про детство — про то, как именно в

Евпатории много-много лет назад у нее про-
снулась память.

Женя давно заметила, что разные люди
помнят себя с разного возраста. Папа, на-
пример, установил, что его первые воспоми-
нания — с трех лет. Его папа (то есть Женин
дедушка) вносит в комнату огромного, боль-
ше, чем трехлетний Женин папа, мишку.
И папа сначала пугается, а потом кричит от
радости по-индейски.

А ее любимая тетя Вера (как она там сей-
час в больнице — после операции?..) уверя-
ла, что помнит себя только с 5 класса — то
есть с одиннадцати лет. Ну, этого вообще не
может быть. Что же она — не помнила, что
ли, как в школу пошла? Женя, например,
прекрасно помнит, как в восемь лет была
влюблена в Тиму. Помнит, как она, лениво
вытирая в кухне перемытые блюда, смот-
рит в окно — и вдруг все-все меняется: будто
солнце выглянуло из-за туч и осветило двор.
Это вышел из подъезда в своей рубашечке
в мелкую синенькую клетку Тима. Женя и то-
гда удивлялась — как такое может быть? Но
это повторялось в то лето каждый день: сна-
чала мгновенно преображался двор —

и в следующую же секунду обнаруживалась причина преобразования, с неизменным хохолком на круглом затылке... Ах, давно дело было. Следующим летом Тима переехал, и Женя довольно быстро его забыла. С тех пор она не раз, конечно, влюблялась, но так, немножко. Например, в группе каратистов ей нравился один мальчик. Но *такого* уже не повторялось. Было даже немного жаль. Женя утешала себя, что все впереди.

Так вот, у ее бабушки память проснулась в четыре года — в первый день той самой войны, которую в учебниках называют Великой Отечественной — в отличие от просто Отечественной войны с Наполеоном в 1812 году.

Бабушка рассказывала так, что Женя ясно представляла залитую солнцем набережную Евпатории и то ощущение, которое сама бабушка называла чувством *полноты жизни*.

Оно складывалось из солнца, ярко-голубого неба, теплого воздуха, мягчайшего песка на пляже, сказочным образом состоящего из мельчайших ракушек разнообразной формы — Женя нигде не видела такого пес-

ка, да и сама бабушка, побывавшая за всю свою жизнь, а особенно в последние пятнадцать лет, на самых разных морях и на двух океанах, больше нигде его не встречала. Надо добавить сюда и плещущие тут же рядом волны, и удовольствие ходить по этому песку и по воде за руку с кем-нибудь из старших — босиком и в трусиках, и купленную ей мамой ракушечную коробочку невероятной красоты. Бабушка, а тогда девочка Ася, все время рассматривала эту чудную коробочку в гостинице.

— Ну и где, где эта чудная коробочка? — приставала Женя. А бабушка только смеялась.

В номере, помнила она, был высокий потолок, за окном много неба. Но главное — вкус какого-то особенного не то пирожного, не то печенья. По бабушкиному описанию, — большой, в два раза толще обычного печенья брикет, величиной и формой с сегодняшней тульский пряник, напоминал песочное пирожное, но поплотнее, пожалуй. Брикет крошился, и каждая крошка была необыкновенно вкусной. Четырехлетняя Ася ела его прямо на жаркой, желтой от солнца улице, ря-

дом с гостиницей — ее мама всегда покупала его по дороге с пляжа домой. И никогда больше, по ее словам, не пришлось ей ощутить именно *этого* бесподобного вкуса. На приставанья Жени, очень даже внимательной к разным вкусняпам, — на что же все-таки похоже? — бабушка, старательно подумав, сказала, что, пожалуй, на курабье (которое появилось в Москве в магазинах, кстати сказать, когда бабушка была уже совсем взрослой). Только совсем другая форма и толщина.

Бабушка помнила, как мама и брат много говорили о какой-то телеграмме, но о какой именно, узнала только много лет спустя, когда подросла и поумнела.

Оказывается, через три-четыре дня после того, как они приехали в Евпаторию и очень удачно устроились в гостинице «Крым», от отца из Керчи, где он был в командировке, пришла телеграмма странного содержания: «Немедленно возвращайтесь Москву».

Та же, которой странная телеграмма была адресована, как раз уже провела *адаптацию* детей к южному климату и приступила к самому отдыху. *Адаптация* же, которую дети ненавидели всей душой, заключалась в том, что в

течение первых двух дней им не разрешалось купаться и гулять по солнцу. Каждое лето прабабушка (она сама с гордостью рассказывала это Жене; умерла прабабушка пять лет назад, и Женя хорошо ее помнила) вывозила детей на юг, веря в чудодейственную силу Черного моря, — и всякий раз неукоснительно по совету какого-то умного врача поступала именно так. Возможно, потому ее дети — в 36 лет, заметим, их у нее было уже четверо и намечался пятый, что в Москве в интеллигентных семьях и в те времена встречалось нечасто, не говоря о сегодняшних, — никогда не обгорали и не болели на юге.

Повертев телеграмму в руках и ничего в ней не поняв, хотя все три слова были разборчивы, молодая многодетная мать обратилась к единственному советчику — тринадцатилетнему сыну.

— Что будем делать, как ты думаешь?

— Но, мама, ведь совсем непонятно, что папа имеет в виду, — сказал тот рассудительно. — Мы только устроились, Аське здесь так хорошо... Давай подождем письма с объяснениями.

И они остались — отдыхать и ждать.

А ровно через неделю ночью всех разбудили далекие, но очень сильные взрывы.

Вот в эти часы у маленькой Аси и проснулась память — с этой именно ночи она помнила себя уже почти день за днем.

— Прекрасно помню, — рассказывала она Жене, — ночь; чуть-чуть начинает светать. И мы не в своем номере, а внизу в вестибюле — это необычно. Полный вестибюль народу. Большое кресло в белом чехле, и на нем, откинувшись и разбросав руки в стороны (бабушка показывала — как), лежит женщина с закрытыми глазами. И все говорят: «Она в обмороке, она в обмороке». Это слово я слышу первый раз. И не понимаю — вот же она в кресле, а не в каком-то обмороке... Пристаю к маме: «Мам, мам, где этот обморок?» Но мама меня не слушает. Где-то далеко — глухие сильные удары. Все к ним прислушиваются, никто ничего не понимает. Мой брат говорит: «Мама, это маневры». А это была первая ночь войны — с 21 на 22 июня 1941 года — и первая бомбежка. Немцы бомбили Севастополь, порт, и взрывались, кажется, склады с боеприпасами. Само слово *бомбежка* — для меня тоже новое — я услышала уже позже, только в Москве.

Женя несколько раз слышала этот рассказ, но ужасно любила, когда бабушка его повторяла. Она так живо все передавала, что Жене казалось — это происходит с ней самой, прямо сейчас.

— Скоро в гостинице появляется мой папа. Я ужасно рада. Он приехал к нам из командировки, а эта неведомая командировка находится в Керчи. Он привез мне странное засушенное морское существо — колючее, розоватое, с лошадиной мордочкой, хвост колечком. Это — морской конек. Я без конца с ним играю, а родители горячо о чем-то говорят.

И вот мы уже едем в «жестком плацкартном», как говорят взрослые, вагоне — возвращаемся в Москву. Мне жалко покидать песочек и море. В вагоне тесно, много народу. Но мне места хватает. Я смотрю в окно. Папа и мама без конца разговаривают, сидя друг против друга.

Что это была за телеграмма, бабушка узнала от своего папы, когда подросла.

В той самой Керчи, куда он уехал по делам службы, отправив семью отдыхать, 14 июня 1941 года на газетном стенде он

прочел в «Правде», — главной тогдашней газете, на которую члены коммунистической партии обязаны были подписываться, а для прочих граждан ее каждое утро вывешивали на улицах на специальных стендах, — на первой странице набранное крупными буквами «Заявление ТАСС» — Телеграфного Агентства Советского Союза. Такое агентство во всей стране было единственное, и оно передавало по радио и печатало в газетах то важное, что правительство, то есть коммунистическая партия, то есть Сталин, который единолично правил тогда страной от имени партии, хотели сообщить своему народу.

На этот раз ТАСС сообщало следующее: слухи о том, что Германия сосредоточивает на нашей границе войска, — ложные. У Советского Союза с Гитлером есть договор о ненападении, советские люди должны верить, что Гитлер ни за что его не нарушит, и ни в коем случае не поддаваться панике. И разговоры о том, что Германия (после заключения в августе 1939 года этого договора Германию уже запрещено было называть «фашистской») хочет напасть на нас, — лживые и провокационные.

И любой житель Советского Союза мог прочесть между строк этого заявления, что за ложь, провокацию и панику полагается тюрьма, если не хуже.

После этого Заявления уже нельзя стало говорить вслух о том, о чем многие говорили, хоть и вполголоса, — что в последние недели ко всей западной границе страны стягиваются немецкие войска и что нам надо бы тоже подумать на всякий случай об обороне.

Теперь все должны были успокоиться и продолжать работать, а те, кто в отпуске, — спокойно отдыхать. Большинство так и поступили. Многие как раз после этого отправились отдыхать вместе с детьми — на Украину, в Крым и на Кавказ. И немало было тех, кто уже никогда не вернулся в свой дом.

Но отец Жениной бабушки, которого Женя знала только по фотокарточкам и по рассказам мамы, нередко вспоминаяшей своего дедушку, поступил совсем по-другому.

Тут надо заметить, что вообще-то он был членом той самой единственной партии, которая правила в тогдашней России, и верил, что вместе с этой партией строит социа-

лизм — самую лучшую жизнь для людей. И даже постепенно сам искренне поверил, что в Советском Союзе уже живут лучше, чем в других, капиталистических странах. Да и как было не поверить, когда об этом целыми днями говорило советское радио и писали советские газеты, а ни в какой другой стране он ни разу в жизни не был и никаких других газет не видел? ...Как же он был изумлен и даже ошеломлен потом, четыре года спустя, когда, шагая рядовым пехотинцем по дорогам поверженной Германии, увидел, что там в любой деревне в каждом доме — стиральная машина, холодильник и пылесос, про которые в Советском Союзе тогда и не слышали... Да и сами деревни его поразили. Ничем не были они похожи на те деревни с покосившимися заборами и вросшими в землю до окон избушками, десятки и сотни которых миновал он, меся сапогами грязь, когда продвигался с боями к западной границе, отвоевывая назад свою страну.

Но это было уже в 1945-м. Тогда же, в 1941-м, прадед Жени, сорокалетний мужчина, безраздельно верил своей партии, в которую вступил восемнадцатилетним

юношей еще во время Гражданской войны. Особенно же он верил каждому слову Сталина. Да и как, скажем вновь, было не верить, если каждое его слово тысячи раз повторялось во всех газетах, и тысячи раз пояснялось, сколько мудрости в этих словах? И не было во всей стране такой газеты, не говоря уже про трибуну на каком-нибудь собрании, где можно было бы выразить хоть каплю сомнения в этой мудрости.

...Отец его был давно арестован как «враг народа» и, сообщили сыну так называемые органы, отправлен на десять лет в лагерь «без права переписки» (что это означало расстрел, стало известно много позже, уже после смерти его старшего сына, так и не узнавшего от своей партии, что она сделала с его отцом).

Не имея с тех пор об отце никаких известий (и никогда от него не отрекаясь — а публично отрекались от «врагов» многие), сын был уверен, что случившееся — трагическая ошибка, которая постепенно будет исправлена. Доверия к своей власти он не потерял.

Но 14 июня 1941 года этот убежденный коммунист поступил странно.

Внимательнейшим образом прочитав заявление ТАСС, где высшая власть требовала от него, всегда верно ей служившего, поверить ей, что никакой войны не будет, и убеждать в этом не верящих, он на этот раз не послушался.

Отец четверых детей, с радостью узнавший две недели назад от жены, что они ожидают и пятого, он не разумом даже (ведь разум-то его, повторим, был подчинен партии), а каким-то инстинктом, что ли, тем, что заставляет любого зверя защищать от опасности своих детенышей, понял или почувствовал, что война на пороге.

Он не думал, что Сталин обманывает его, как и всех людей страны. Не думал он также, что Сталин ошибается, веря Гитлеру (которому давно не верил никто в мире), — и тем подвергает страшной опасности миллионы жизней соотечественников. Точнее, Жениному прадеду и в голову не могла тогда прийти мысль, что Сталин может ошибаться — он был, можно сказать, под гипнозом мифа о мудрости и непогрешимости вождя.

Просто он мгновенно понял, что именно он лично должен сделать сейчас же.

Ни минуты не медля, он отправился на телеграф и дал жене телеграмму, требуя срочного возвращения семьи в Москву. Большого он написать в телеграмме не мог.

Он понимал, что Москва дальше от границы, чем Крым, что до нее сразу не доберутся и вообще столицу будут защищать. И что дома семья будет в большей безопасности, чем в Крыму.

Позже, когда Ася подросла, мама рассказывала ей:

— Когда он нас вывозил (мы ехали вторым эшелонам, ушедшим в эти дни из Евпатории, — рассказывали, будто первый разбомбили от головы до хвоста...), — всю дорогу меня ругал: «Если бы ты меня послушалась, я бы давно был на фронте! А теперь с вами должен возиться!»

Привезя семью в Москву, он вскоре ушел на войну добровольцем.

Женина бабушка помнила затемненную Москву на исходе лета, прохладные ночи и темное небо в лучах прожекторов, старающихся нащупать вражеские самолеты. Ночь... Она спит на неразобранной кровати одетая, в синих шерстяных колких рейтузи-

ках — непривычно. Очень не хочется просыпаться среди ночи под вой сигнала тревоги по репродуктору. Мерный голос диктора — «Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога! Спускайтесь в бомбоубежище!» и нежный мамин голос: «Вставай, Асенька!» Ася говорит плаксиво: «Опять тревога!», прижимает к груди куклу и покорно идет по лестнице с четвертого этажа. Потом ее подхватывает на руки самый старший, пятнадцатилетний брат и бежит по темному двору, и она видит, задрвав голову, как черное небо озаряется вспышками — это наши зенитки стреляют по немецким самолетам, прорвавшимся к Москве и летящим над городом. В ту ночь тревога была четыре или пять раз.

Это случилось 22 июля — ровно месяц спустя после начала войны столицу отправились бомбить 220 немецких бомбардировщиков. Но бомбили город только несколько самолетов — остальных зенитчики до Москвы не допустили.

Под воспоминания о бабушкиных рассказах Женя задремала и почти две трети дороги до Омска проспала — бессонные сутки в Оглухине, пожалуй, равнялись трем бес-

сонным ночам. Засыпая, она только заметила на указателе длинное слово, начинающееся со «Сладко...» А что там было сладко — прочесть не успела. Когда же проснулась, увидела, что они переезжают реку Ишим. На мосту, там, где кончился новый асфальт, лежал брус, на нем подпрыгнули с легким треском, и Женя, еще спросонок, явственно услышала, как машина сварливо проскрежетала: «Начинается!..»

Была уже ночь. Ясно стало, что до Омска они доберутся не раньше, чем на рассвете. Надо было на свежую голову до встречи с адвокатом привести в порядок свои мысли и упорядочить в голове все факты, которые удалось установить и которые должны были послужить оправданию Олега.

Итак, у них на руках была записка Олега и объяснение Лики о том, что записка адресована ей и ей же показана при личной встрече. При ней спрятана в карман ватника — и там же найдена Женей в присутствии всех ее несовершеннолетних друзей и двух взрослых водителей.

Конечно, лучше, чтоб записку вынимали из кармана оперативники, да в присутствии

понятых. Но у членов Братства не было возможности действовать иначе, чем они действовали.

Во-вторых, имелись два свидетеля, подтверждающих алиби Олега, — о них на судебном процессе известно не было. Письменные показания Лики ясно говорили о том, что большую часть той ночи, когда произошло убийство, и уж во всяком случае те самые часы, когда оно произошло, Олег провел в ее доме.

В-третьих, появились какие-то новые факты, возможно, относящиеся уже к самому убийству. Фурсику удалось установить, что негатив принесла девчонка по имени Виктория, по фамилии Заводилова. Правда, квитанцию ей хозяин ателье не выписывал — она была его знакомая, училась в одном классе с его младшим братом. Как к ней попал этот негатив — было пока неизвестно. Но отпечаток с него был теперь у Фурсика на руках.

Ни Фурсик, ни Женя, вообще никто на свете еще не знал о том, что произошло накануне в доме Заводиловых.

Увидев на пальце Виктории кольцо ее убитой сестры и очевидное замешательство

на лице дочери в тот момент, когда она перехватила его остановившийся на кольце взгляд, Игорь Заводилов хрипло выговорил:

— Дай...

Виктория молча сняла с пальца именно это кольцо и послушно, как в детстве, протянула отцу.

Он взял, повернулся, неверными шагами дошел до дверей своей комнаты, вошел, закрыл за собой дверь и запер на ключ.

Восемнадцать часов спустя после этого черная «Волга» продолжала свое движение по Сибири. До Омска оставалось четыреста с лишним километров.

Оглавление

Перед началом событий
5

Глава 1. НОВОСТИ
7

Глава 2. БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ НОВОСТИ
15

Глава 3. ФУРСИК
21

Глава 4. МАРГАРИТКА
25

Глава 5. ДИМА
31

Глава 6. ЛИКА
35

Глава 7. «НЕ ПИЛИТЕ ОПИЛКИ!»
41

Глава 8. ПОСЛЕДНИЙ
МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕР

47

Глава 9. САНЯ И КАЛУГА ВЫДВИГАЮТСЯ

58

Глава 10. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ШУСТ

67

Глава 11. ВАНЯ-ОПЕР

73

Глава 12. УРАЛ. ЕВРОПА И АЗИЯ

79

Глава 13. СКИН

94

Глава 14. ЧЕЛЯБИНСК

99

Глава 15. ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

113

Глава 16. «ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ...»

118

Глава 17. АНЖЕЛИКА

126

Глава 18. ВИЙ И МЯЧИК

137

Глава 19. СЕМЬЯ ЗАВОДИЛОВЫХ

Глава 20. БРАТСТВО ОЩЕТИНИВАЕТСЯ

165

Глава 21. ВИТЕК

170

Глава 22. ТОМ

176

Глава 23. ЧЕРДАК ЗАКОЛОЧЕННОГО ДОМА

188

Глава 24, КОРОТКАЯ, НО МНОГО

ОБЪЯСНЯЮЩАЯ

196

Глава 25. ЖЕНЯ ГОТОВИТСЯ К БОРЬБЕ

200

Глава 26. НОВЫЕ ТАЙНЫ

205

Глава 27-я, ФУТБОЛЬНАЯ, В КОТОРУЮ

В ИГРУ ВСТУПАЕТ СЕНЯ-НЕФАНАТ,

ОН ЖЕ КУТИК

213

Глава 28. КУРСКИЙ ВОКЗАЛ

222

Глава 29. В ИГРУ ВСТУПАЕТ ШЕРЛОК ХОЛМС	229
Глава 30. СЛАВА-БАЙКЕР	233
Глава 31. В МОСКВЕ. ВИКТОРИЯ.	243
Глава 32. В МОСКВЕ. ФУРСИК	260
Глава 33. СНОВА В ОГЛУХИНЕ	267
Глава 34. И ОПЯТЬ В МОСКВЕ	270
Глава 35. АДВОКАТ	274
Глава 36-я, ПОСЛЕДНЯЯ, НО НЕ ЗАВЕРШАЮЩАЯ	282

Из II тома

Потом, когда Саня и Леша проводили разбор полетов, они пришли к выводу, что все началось с этого моста через Ишим, ремонтируемой дороги и объезда, в который послали их гаишники (или, как теперь следовало говорить, хотя это глупо и язык сломаешь, гибэдэдэшники).

Коротко говоря, часа в два с небольшим ночи, то есть в самую, хоть и недолгую, летнюю темень, вместо того чтобы выбраться на федеральную трассу и двигаться по ней к Омску, они оказались на узком

проселке, петлявшем в немыслимой глухомани.

Попетляв минут двадцать, они вдруг почти уперлись в опущенный шлагбаум. С двух сторон от него виднелись ряды колючей проволоки.

— Это чего, Калуга? — ошарашенно спросил Саня. — Куда мы заперолись-то?

Леша, пригнувшись к рулю, всматривался в шлагбаум. И увидел то, чего ожидал, — высунулось дуло. И вслед за ним раздался голос — надо сказать, не очень уверенный, а скорее даже растерянный — во всяком случае, не такой, какой подобает часовому:

— Стой, кто идет?

— Тут что, воинская часть, что ли? — спросил Саня Лешу и сам ответил: — Не-а. Не похоже.

Слегка развернувшись, Леша осветил фарами большой стенд слева от шлагбаума. На нем они увидели следующее: ярко-красными буквами была выведена отнюдь не выцветшая, а явно заботливо подновляемая надпись: «Совхоз “Победа социализма”», пониже — портрет Леонида Ильича Брежнева с молодыми густыми бровями, им обоим,

в отличие от их пассажиров, до боли знакомый. Еще ниже — плакат: «Слава доблестным советским воинам-интернационалистам, сражающимся за свободу и независимость Афганистана! Смерть американским захватчикам!»

А к нижней рейке был прикреплен разворот свежей газеты, по формату — бывшей заводской многотиражки.

— Ну, все, Калуга, концы — у меня крыша едет, — пробормотал Саня и прибавил шепотом несколько неразборчивых слов.

— Стой, стрелять буду! — крикнул голос, обретя некоторую уверенность.

Леша высунулся слегка из окна и сказал миролюбиво:

— Погоди стрелять, братишка, у нас дети в машине. Ты лучше покажись нам и объясни — куда мы попали-то? Мы вообще-то в Омск едем.

Вдруг он ловко выскочил из машины и пошел прямо к стенду.

— Газетку хочу почитать, — объяснил он голосу, оторопевшему Сане и темному лесу, обступавшему их.

Он начал читать вслух:

— «Продолжаются жестокие бои советских воинов-интернационалистов, сражающихся за освобождение Афганистана...»

— Чего? — крикнул Саня. — Какие бои в Афгане! Калуга, ты чего?!

— Санек, гляди, наши, оказывается, еще Панджшерское ущелье берут!

— Ты че, Леха, — жалобно сказал Саня, видя, что его друг на глазах повредился в уме. — Мы еще при Горбачеве оттуда ушли...

— Выходит, не ушли! — хохотнул Леша, не отрываясь от газеты. — Вон и Брежнев жив-здоров, его с 96-летием трудящиеся поздравляют. А газетка-то, между прочим, сегодняшняя.

Тут он резко повернулся к шлагбауму, где невидимый Сане замер обладатель голоса.

— Выходи, сержант, поздоровайся с однополчанами! Заодно расскажешь, что у вас тут творится, что ты такое охраняешь.

И невысокий мужчина в камуфляже, того же примерно возраста, что Саня и Леша, выступил из тени, понурился головой.

Саня отрулил машину далеко вглубь заросшего травой переулка — приняв во внимание не только соображения безопасности, но и дальность полета звуков нецензурной человеческой речи. В том, что в предстоящей схватке будут применены непарламентские выражения, причем на самой высокой ноте, он, как опытный спецназовец, не сомневался.

Леша тихо переговаривался с часовым, резал воздух ребрами больших ладоней, показывая предполагаемое направление дви-

жения своих немногих боевых единиц. И Саня согласно кивал головой. В памяти обоих одновременно всплывали забытые, но не исчезнувшие из глубинных пластов памяти навыки ближнего боя. Потом часовой сбегал куда-то и принес моток крепких веревок. Леша и Саня еще помахали друг перед другом руками, репетируя предстоящую сцену.

Вскоре все трое бесшумно растворились в кустарнике.

Поселок продолжал спать. Словоохотливая бабка давно скрылась в доме и, скорее всего, тоже досыпала, утомленная своей политической лекцией. Только мальчик тихо играл в глубине двора с псом.

Вскоре в чаще леса послышался неясный шум. Через несколько минут к опущенному шлагбауму подплыл, покачиваясь, черный джип, мрачно поблескивая тонированными стеклами. Погудел, минуту подождал и еще погудел. Часового не оказалось на месте, и подымать шлагбаум никто не думал. Правая дверца открылась, из нее вышел (на это, заметим, и рассчитан был Лешин план операции) плечистый, очень коротко стри-

женный мужчина в черной футболке с длинными рукавами. Поверх футболки надела была черная же кожаная безрукавка со множеством молний, казавшаяся надутый. Под ней даже неопытным глазом угадывался бронежилет. Экипировку довершала расстегнутая кобура на поясе. Из кобуры торчала ручка большого пистолета.

Плечистый сделал несколько осторожных шагов к шлагбауму.

— Эй! — крикнул он. — Ты где, козел?

Тут левая дверца машины слегка приоткрылась.

Если бы впоследствии нашлись очевидцы, наблюдавшие всю сцену с начала до конца (а таковых, мы вам ручаемся, не было), они поклялись бы на любом суде, что оказавшийся в тот же момент у левой дверцы Леша вырос из-под земли. Поскольку никакого другого варианта его внезапно появления у машины, отделенной от густого кустарника, росшего слева от столба шлагбаума, довольно обширной лужайкой, не имелось.

Левой рукой Леша рванул дверцу, а правой сдавил горло сидевшего за рулем челове-

ка и так, за горло, выдернул его из машины. (Своевременным будет пояснение, что Леша левша. Но и правая рука работала у него не хуже, чем у нас с вами.)

В тот же миг Плечистый выхватил «макарова» из кобуры и направил его на два тесно сплетшихся и молча ломавших друг друга тела. Однако целиться в них в данный момент, как всякому ясно, было совершенно бессмысленно. И тут же из кустарника — из того самого места, что и несколько часов назад, — высунулось круглое черное дуло «калашника» и голос часового крикнул:

— Не дергайся, Харон, ты у меня на мушке!

...А у Вани-опера было свое задание.

Друг детства его отца, полковник милиции, работал в Москве. Отношения их в последнее время охладели. Но Ваню полковник, у которого не было сына, любил, в последний раз, уезжая из Златоуста, звал в Москву и вообще предлагал обращаться за любой помощью — как чувствовал, что скоро она понадобится. Сейчас Ваня надеялся, что он поможет вскрыть ячейку на Курском вокзале и проверить предположение ребят. Без милиции заниматься этим Ваня никогда бы не стал. Но картинка, как они с Бессоновым приходят в вокзальное отде-

ление милиции, размахивая конвертом Горошины, и излагают идею Кутика про сборные Бразилии и Италии, тоже как-то плохо рисовалась. Вот почему надежда его была на полковника Пуговошникова, дядю Толю.

Да, в Москву лететь было надо, как ни крути, — и по шифровке в конверте, которую нельзя же взять да и утопить в Миассе, и по личным делам. Тут тоже без совета дяди Толи не обойтись.

Но Ваня прекрасно знал, что и за Уралом остался ворох дел, с которыми Жене без него не справиться, — она все же москвичка, в Сибири впервые. Ваня знал, что дела их по Олегу только начаты, что освобождение невинного у них совсем не в кармане. Что такое в России милиция, суд и прокуратура, он знал лучше всех друзей. И потому, летя в Москву, не больно-то радовался, сидел в самолете пригорюнившись, сон к нему не шел. И билет он взял туда и обратно.

Ваня Бессонов крепко спал, что и понятно было. Минувшую ночь, как и прошлые, друзья опять почти не спали. А когда спать-то? Самолет из Кургана в Москву вылетал

в восемь утра. Приехать надо было не просто заранее, а здорово заранее — чтоб попытаться купить билет на текущий рейс. Правда, люди уверяли, что это сейчас — без проблем, из-за дороговизны билетов на полный самолет людей не набирается. Хорошо хоть паспорта у обоих в порядке — новенькие! Еще недавно, когда паспорта выдавали только в шестнадцать лет, фиг бы они улетели.

От Щучьего до Кургана километров двести, а еще от Оглухина до Щучьего больше сорока. И если бы не Шамиль — вообще неизвестно как бы добрались. В общем, выезжать пришлось, чтоб с запасом, чуть не в час ночи. У Мячика в доме никто еще и не собирался ложиться, и местные по домам не расходились. Все говорили о том, как искать убийц.

По дороге покемарили немного в машине. Но в Сибири ночью в машине спать не принято — из солидарности с водителем. А потом уж и не до сна было — под рассказы Шамиля.

Шамилем звали того парня, который подвозил Ваню-опера вместе с Мячиком в Оглухино. Ему ведь тогда не до самого Оглухина

надо было ехать, а в сторону от Шумихи. А он их подвез и денег не взял. Ваня успел рассказать, что у них беда — ни за что дали пожизненное их старшему, и они хотят его выручать. Это Шамилю понравилось. Прощаясь, он дал Ивану и Тому (с ним он познакомился уже у дома Мячика) номер своего мобильного, сказав неопределенно:

— Звоните, если что.

Ваня-опер позвонил, и тот приехал ночью и вез их до утра на скорости 120–130. Они с ним, конечно, в этот раз нормально расплатились...

Литературно-художественное издание

Мариэтта Омаровна

ЧУДАКОВА

ДЕЛА И УЖАСЫ ЖЕНИ ОСИНКИНОЙ

Тайна гибели Анжелики

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Подписано в печать 20.06.2007.

Формат 84×108¹/₃₂.

Бумага пухлая.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 16,8.

Тираж 3000 экз.

Заказ № 396.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон: (495) 231 1864

<http://books.vremya.ru>

e-mail: books@vremya.ru

Отпечатано в ОАО

«ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП-148,

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru



мариэтта чудакова

дела и ужасы жени осинкиной

Т а й н а г и б е л и А н ж е л и к и

Смелые и честные люди — Ваня Бессонов из Петербурга, Ваня-опер из Златоуста, Скин, он же Денис Скоробогатов из Москвы, Том Мэрфи — родом из Вязьмы, а также Фурсик, Кутик, Мячик, Шерлок Холмс, Слава-байкер с Нитой Плугатыревой и все другие вместе с Женей Осинкиной пускаются в опасное предприятие с целью раскрыть ужасное преступление и освободить ни в чем не повинного.

